

• КЛАССИКА МИРОВОЙ ФАНТАСТИКИ •

ЭДГАР АЛЛАН

ПО

ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРА

РУКОПИСЬ,
НАЙДЕННАЯ В БУТЫЛКЕ

КОЛОДЕЗЬ И МАЯТНИК

И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Классика мировой фантастики (АСТ)

Эдгар Аллан По

**«Падение Дома Ашера»,
«Рукопись, найденная в
бутылке», «Колодезь и маятник»
и другие произведения**

«Издательство АСТ»

УДК 821.111
ББК 84(7Coe)

По Э.

«Падение Дома Ашера», «Рукопись, найденная в бутылке»,
«Колодезь и маятник» и другие произведения / Э. По —
«Издательство АСТ», — (Классика мировой фантастики (АСТ))

Эдгара Аллана По можно назвать самым первым всемирно известным американским писателем. Он создал современный детектив и жанр психологической прозы, оказал огромное влияние на формирование и развитие научной фантастики. Его почитателями были Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Говард Лавкрафт, Владимир Набоков и многие другие. И в наше время творчество Эдгара Аллана По не утратило силы своего воздействия, находя неизменный отклик в сердцах читателей.

УДК 821.111
ББК 84(7Coe)

Содержание

Эдгар По в саду расходящихся тропок	6
Неблагодарный приемный и черствый опекун	7
Акула пера, злобный критик, разрушитель репутаций	9
Во все тяжкие	11
Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля	13
Повесть о приключениях Артура Гордона Пима	38
Предварительные замечания	39
Глава I	40
Глава II	44
Глава III	50
Глава IV	54
Глава V	57
Глава VI	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Эдгар Аллан По
«Падение Дома Ашера», «Рукопись,
найденная в бутылке», «Колодезь
и маятник» и другие произведения

© В. Владимирский, вступ. ст., 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Эдгар По в саду расходящихся тропок

В романе Роджера Желязны и Фреда Саберхагена «Чёрный трон» действуют два Эдгара По. Один – солдат, авантюрист, искатель приключений, человек с железными нервами, супер-герой, способный выпутаться из любой передраги. Другой – тонкая и уязвимая поэтическая натура, меланхолик, мечтатель и визионер, тяжело страдающий под ударами судьбы. Правда, живут эти герои в разных мирах, в двух параллельных вселенных, и встречаются лишь изредка.

Но это фантастика: в реальности все сложнее. Когда знакомишься с работами историков и литературоведов, складывается ощущение, что в Америке XIX века жили одновременно десятки Эдгаров По – и число их множится с выходом каждой новой биографии, каждой статьи. Этими мало похожими друг на друга людьми можно уже заселить целый город размерами со средний российский райцентр. Чтобы составить подробный перечень всех «альтернативных По», понадобилось бы несколько пухлых томов и годы работы – но можно назвать главные «точки бифуркации», ключевые моменты, где оценки исследователей резко расходятся, и непохожие друг на друга персонажи начинают жить своей собственной независимой жизнью.

Неблагодарный приемыш и черствый опекун

Эдгар По рано осиротел. Историки до сих пор не могут придти к единому мнению, куда исчез отец семейства, Дэйвид По – умер или попросту сбежал, оставив благоверную с малолетними детьми на руках. Вскоре умерла и мать будущего автора «Ворона», театральная актриса Элизабет Арнольд По: она скончалась в декабре 1811 года, когда мальчику не исполнилось еще и трех лет. Малолетний Эдгар счастливо избежал отправки в приют: его усыновили Френсис Киллинг Аллан и ее супруг Джон, тридцатидвухлетний торговец из Ричмонда. Как ни цинично звучит, По повезло: едва ли нищая родня смогла бы дать ему такое воспитание и образование, как приемный отец, а с миссис Аллан его связывали самые нежные и искренние родственные чувства. Более того: именно Джон Аллан невольно привил Эдгару любовь ко всему английскому. Пять лет, с 1815 по 1820-й, семья торговца провела в Шотландии и Англии, где подросток впервые близко познакомился с сочинениями современных британских литераторов, включая лорда Байрона – и навсегда заразился неизлечимым вирусом англофилии. Идиллия, впрочем, продолжалась недолго. Увы, эта поездка стала первым и последним заграничным вояжем Эдгара По – несмотря на многочисленные легенды о его тайном визите в Санкт-Петербург, к созданию которых он сам приложил руку. Английская авантюра поставила семейство на грань разорения, и они были вынуждены ретироваться в Ричмонд.

Пока мистер Аллан не покладая рук восстанавливал пошатнувшееся благосостояние семьи, подросший Эдгар, что называется, начал показывать характер. Выразился этот подростковый бунт прежде всего в череде пылких влюбленностей – в том числе в женщину значительно старше По, мать одного из его школьных товарищей, которая сошла с ума и скоропостижно скончалась всего через несколько месяцев после их встречи. Кроме того Эдгар дерзил, огрызался на старших, помыкал сверстниками, пользуясь своим природным обаянием и харизмой... Когда юноше исполнилось семнадцать, чаша терпения опекуна переполнилась, и Джон Аллан нашел выход – не самый типичный для американского Юга, где практическая сметка всегда ценилась выше формального образования. В феврале 1826 года По разлучился с юной невестой и отправился в Шарлотсвилл, чтобы стать студентом Виргинского университета, недавно основанного президентом США Томасом Джефферсоном.

Возможно, поначалу это решение казалось Джону соломоновым, но скоро у него появился повод раскаяться в своем поступке. В середине 1820-х годов профессора Виргинского университета занимались со студентами, проходящими «общий курс», максимум три с половиной часа в день. Предполагалось, что остальное время вчерашние подростки посвятят чтению душевспасительных книг и духовному росту. Трудно понять, чего тут больше – прекраснодушия или идиотизма. Разумеется, оказавшиеся без присмотра юные «южные джентльмены» вместо самообразования спешили попробовать все то, от чего строго-настрого предостерегали их строгие родители – в первую очередь алкоголь и азартные игры. Не отставал от других и будущий автор «Ворона», которого предусмотрительный отчим снабдил крайне скромной суммой карманных денег. Загул продолжался долго – Джон Аллан узнал об этом только через полтора года, когда на пороге дома, где жил молодой По, уже стояли кредиторы. За время учебы в Шарлотсвилле тот успел наделать долгов, прежде всего карточных, на 2500 долларов – сумма, на которую в Джорджии можно было купить двух-трех молодых и сильных рабов для работы на шахте. Вzbешенный опекун лично явился забрать Эдгара из этого гнезда разврата – и отказался оплатить почти все его долги, кроме самых первостепенных.

Ну а по возвращении в Ричмонд выяснилось, что за время отсутствия пасынка Джон строил его помолвку: родители перехватили романтическую переписку возлюбленных, провели профилактическую беседу с невестой, и в итоге девушка, с которой поэт планировал связать свою жизнь, была вынуждена выйти замуж за другого. Это стало главным поводом для

скандального разрыва с Алланом и решительного ухода Эдгара из семьи – события, во многом предопределившего всю его судьбу и творческую биографию.

Надо признать, и Аллан, и сам По сделали все возможное, чтобы накалить и драматизировать эту ситуацию до предела. С одной стороны, судя по опубликованным фрагментам переписки, Эдгар абсолютно не отдавал себе отчета, что ричмондский торговец ничем ему не обязан: все что делал этот человек для абсолютно чужого ребенка, подростка и юноши, делалось исключительно из христианского сострадания – в итоге Аллан уделил неблагодарному пасынку гораздо больше внимания, чем своим собственным родным детям. С другой стороны, американский бизнесмен «эпохи первоначального накопления капитала», который по определению должен был виртуозно вести дела с самыми разными людьми, проявил потрясающую глухоту, нечувствительность и прискорбное неумение идти на компромисс. В общем, чистая мелодрама, болливудский ситком с песнями, плясками и живописным рядом могил в финале.

Уже на этом этапе мы сталкиваемся как минимум с двумя Эдгарами По. Один – романтический, доверчивый, вечно витающий в облаках юноша, который попал под дурное влияние более искушенных сверстников, не устоял перед соблазнами разгульной студенческой жизни и покатился по наклонной. Другой – богато одаренный от природы, но предельно эгоцентричный, сосредоточенный только на себе злой мальчишка, вырвавшийся из-под жесткого контроля, наконец давший волю своим страстям и с наслаждением пустившийся во все тяжкие. У каждой из этих версий есть свои сторонники и противники, и та и другая до некоторой степени подтверждены письмами и воспоминаниями современников, но какая ближе к реальности, мы можем только гадать. И это только начало, только первый шаг Эдгара По по бесконечному лабиринту расходящихся тропок...

Акула пера, злобный критик, разрушитель репутаций

«Критик – тот, кто рассказывает автору, как написал бы его книгу, если бы умел писать» – разумеется, в этом популярном афоризме, как и в большинстве крылатых фраз, есть зерно истины. Но крохотное, для изучения под электронным микроскопом. Слишком много исключений из правила – великих писателей, известных своим современникам в первую очередь как критики и журналисты. И уж определенно тот, кто цитирует этот мем, не знаком с биографией Эдгара Аллана По – хотя бы мельком, поверхностно.

Будущий автор «Ворона» пробовал себя во многих областях. Покинув Ричмонд после скандала с опекуном, он попытался сделать карьеру военного: полтора года прослужил в американской армии, получив звание главного сержанта (но заскучал и уволился, наняв за 75 долларов «заместителя» – солдата, который готов был занять его место и до конца отработать контракт). Через некоторое время поступил в Вест-Пойнт – но полгода спустя вылетел из военной академии как пробка из бутылки за неподобающее поведение, карикатуры и эпиграммы на начальство, а также «неповиновение приказам» и «грубое нарушение служебного долга». Издал несколько поэтических сборников – крошечными тиражами и преимущественно за свой счет, причем ни один не принес ожидаемой громкой славы. Начал осваивать ремесло новеллиста, поучаствовал в паре литературных конкурсов и один даже выиграл. Жил то в долг, то впроголодь – а чаще и то и другое одновременно. Несколько раз упустил шанс сделать традиционную американскую карьеру, стать тихим клерком или секретарем с небольшим, но постоянным окладом, который позволил бы навсегда распрощаться с нищетой.

Однако нашел себя Эдгар По именно в кресле редактора литературного журнала.

Первый серьезный опыт такого рода он получил, как ни странно, в родном Ричмонде, куда ненадолго вернулся через девять лет после эпического скандала с отчимом. Издатель недавно созданного журнала «The Southern Literary Messenger» остро нуждался в толковом и трудолюбивом помощнике, а наш герой, как обычно – в деньгах. В итоге с 1835 по 1837 годы «Messenger» стал главной площадкой для публикаций Эдгара По, причем не столько для прозы и публицистики, сколько для книжных обзоров и литературной критики. Поэт практически безраздельно властвовал в разделе «Editorials», объем которого доходил до сорока страниц, и безжалостно изобличал писателей-северян – судя по росту тиража, виргинским джентльменам (а в первую очередь – их дочерям и женам) пришлось по вкусу азарт и остроумие, с которым молодой критик бичевал зарвавшихся янки.

После переезда в Пенсильванию с 1839 по 1840 год Эдгар По выполнял обязанности заместителя главного редактора другого литературного журнала, «Burton's Gentelmen's Magazine». Здесь поэт продолжил свою карьеру ниспровергателя авторитетов и, в частности, впервые проделал трюк, который позже станет для него коронным: обвинил в плагиате Генри Лонгфелло, самого известного и самого любимого литератора тогдашней Америки. К чести классика, на выпады тот отвечать не стал – а может, просто не придал внимания мнению какого-то там бумагомараки: нехай клеветуют. Ну а вершины своей редакторской карьеры Эдгар По достиг в 1841–1842 годах в «Graham's Lady's and Gentelmen's Magazine», «Журнале Грэма». За краткий срок редакции, где наш герой занимал один из ключевых постов, удалось поднять тираж с пяти до сорока тысяч экземпляров – цифра, которая по сей день производит довольно сильное впечатление.

В 1845 году, после публикации «Ворона», мгновенно прославившего его имя, Эдгар По даже стал пайщиком, а потом и единственным владельцем нью-йоркского издания «Broadway Journal». Здесь он развернулся во всю ширь: обвинил в плагиате уже не только Лонгфелло, но и других писателей, прошелся по своим бывшим друзьям-южанам, заклеил американские СМИ за бессовестную эксплуатацию несчастных авторов и вообще вывалил все что накопи-

лось на душе. Правда, в процессе обличения По умудрился распугать авторов, и, что важнее, настроить против себя читателей: вскоре «Broadway Journal» лишился подписчиков и обанкротился – несмотря на все усилия отыскать новые источники финансирования.

Как критик Эдгар По охотно (и небезвозмездно: статьи – это вам не стихи какие-нибудь) выступал и на страницах других американских изданий. Часто его публикации имели серьезный резонанс. Например, заочная дискуссия между автором «Ворона» и Руфусом Грисуолдом, составителем успешного сборника «Поэты и поэзия Америки», переросла в полномасштабный скандал. В цикле статей «Поэты и поэзия Филадельфии» По расставил приоритеты совсем иначе – и не преминул пренебрежительно прокомментировать работу Грисуолда. Тот ответил переходом на личности, нелестно отозвался о моральном облике оппонента – и пошло-поехало.

Другая не менее острая серия очерков, «Литераторы Нью-Йорка», опубликованная в 1846 году, имела такой успех, что списки продавались поштучно – и достались не каждому желающему. В этом цикле поэт помимо прочих оскорбил своего бывшего друга Томаса Инглиша – тот немедленно опубликовал разгневанную статью в одной из нью-йоркских газет. На сей раз По не ограничился комментарием в прессе: вместе с издателями очерков он подал в суд на Инглиша и выиграл иск о защите чести и достоинства. Впрочем, для нас, потомков, важнее то, что благодаря этому скандалу на свет появился рассказ «Бочонок амонтильядо» – изящная точка в финале долгой и не слишком красивой перебранки.

Наконец, именно с работой журналиста, редактора и издателя, а не с поэзией или прозой, Эдгар По связывал и свое будущее. Еще в конце 1830-х годов он разработал проект «идеального литературного журнала», с лучшими авторами, лучшей полиграфией, приличными гонорарами, продуманной системой распространения. Называться этот журнал должен был «Penn Magazine». К этому моменту По неплохо знал журнальный рынок, изучил закулисные издательской жизни, наладил связи со многими влиятельными поэтами, прозаиками, критиками Америки. Не хватало одного: финансирования. Попросту говоря, денег. Постепенно концепция менялась, проект трансформировался, но надежда запустить свое детище не оставляла По даже в самые темные для него годы. Именно очередная попытка дать жизнь «идеальному журналу», именуемому теперь «The Stylus», привела его в 1849 году в Балтимор, где путь поэта оборвался навсегда...

И снова образ двоится, троится, рассыпается на осколки. Страдающий гений, не признанный современниками, не понятый читателями и толком не издававшийся при жизни. Успешный редактор, профессионал с оригинальным видением литературного пейзажа Америки, неустанным трудом поднявший тиражи нескольких журналов. Глубокий теоретик и внимательный исследователь «текущего литературного процесса». Модный литературный критик, скандалист, разрушитель репутаций, автор сотен статей и рецензий, в основном ядовитых и, что греха таить, не всегда справедливых. Все это, в общем, правда – насколько можно судить из дня сегодняшнего. Хотя определенно и не «вся правда, как она есть».

Но это еще цветочки: главный сюрприз для биографов Эдгара По судьба приберегла напоследок.

Во все тяжкие

Чрезмерное увлечение спиртным принято считать главной причиной всех провалов и неудач нашего героя, а в конечном счете – и его преждевременной трагической гибели. Широко обсуждать проблемы автора «Ворона» начали еще при его жизни – и не остановились после смерти. По мнению некоторых современников, тяга к алкоголю привела По на грань безумия. Андрей Танасейчук, автор самой подробной и глубокой биографии поэта, изданной в России, приводит цитату из воспоминаний того самого Руфуса Грисуолда: «Он бродил по улицам, охваченный не то безумием, не то меланхолией, бормоча невнятные проклятия, или, подняв глаза к небу, страстно молился (не за себя, ибо считал, или делал вид, что считает, душу свою уже проклятой), но во имя счастья тех, кого в тот момент боготворил; или же, устремив взор в себя, в глубины истерзанного болью сердца, с лицом мрачнее тучи, он бросал вызов самым свирепым бурям и ночью, промокнув до нитки, шел сквозь дождь и ветер, отчаянно жестикулируя и обращая речи к неведомым духам, каковые только и могли внимать ему в такую пору, явившись на зов из тех чертогов тьмы, где его мятущаяся душа искала спасения от горестей, на которые он был обречен самой судьбой...»

Вероятнее всего, проблемы начались еще во время учебы в Виргинском университете – по крайней мере, однокашники Эдгара По по Шарлотсвиллу дружно вспоминают веселые студенческие попойки, да и за игровым столом едва ли обходилось без алкоголя. Частые запои, во время которых По совершенно не мог работать, называют и одной из главных причин увольнения из «The Southern Literary Messenger» и «Graham's Lady's and Gentelmen's Magazine». Что, впрочем, не помешало По добиться роста тиражей обоих журналов. Однако зависимость от алкоголя стала предметом открытого обсуждения в американском литературном обществе лишь в последние годы жизни «сумрачного гения». Во время свары, последовавшей за публикацией «Поэтов и поэзии Филадельфии», а затем «Литераторов Нью-Йорка», противники использовали его пьянство как главный свой козырь – демагогическим приемом «переход на личности» в Америке девятнадцатого века владели виртуозно.

Разумеется, зависимость от алкоголя не была вымыслом злопыхателей от начала до конца, хотя они, возможно, и сгущали краски. В переписке с друзьями и родными По сам не раз признавал за собой такой грех, и время от времени строго-настрого зарекался: «больше ни капли». В 1848 году, после тяжелой болезни, врачи категорически запретили поэту пить, опасаясь за его сердце. Тем не менее смерть Эдгара Аллана По традиционно связана в сознании читателей с его финальным алкогольным трипом – и, возможно, небезосновательно.

Последние месяцы жизни нашего героя расписаны по дням, а в некоторых случаях – по часам. В 1849 году перед Эдгаром По в очередной раз замаячил шанс реализовать свою давнюю идею-фикс и запустить литературный журнал «The Stylus». Чтобы привлечь читателей и собрать подписчиков, а заодно немного заработать, поэт планировал прочесть серию лекций в крупных городах Америки, где его знали и ценили. 29 июня он выехал поездом из Нью-Йорка в Филадельфию, чтобы сесть на пароход до Ричмонда, но на борт так и не попал. Несколько дней спустя он был ненадолго задержан филадельфийской полицией за то, что находился в публичном месте «в неподобающем виде», а 2 июля постучался в мастерскую своего друга, художника Сартейна – со словами, что его преследуют и хотят убить. Самое печальное, что в своих странствиях он потерял конспекты лекций и все деньги – и добрался до Ричмонда, откуда должен был выдвинуться в Балтимор, только 14 июля. Показательно, что сам По горячо отрицал версию с запоем. «Более десяти дней я был совершенно невменяем, хотя не пил и капли», – писал он любимой теще.

В Ричмонде По очевидно взял себя в руки: с успехом провел цикл лекций при большом стечении народа, всех очаровал и договорился о помолвке со своей возлюбленной юношеских

лет, к этому моменту очень кстати овдовевшей. 25 сентября он собрал вещи и пошел попрощаться с друзьями. Последняя, кто его видел в этот день, мисс Шелтон, потенциальная супруга По, проверила поэта пульс «и нашла, что у него лихорадка» – но отговорить от поездки не сумела, а утром было уже поздно: пароход увез Эдгара в последнее плавание.

Судно прибыло в Балтимор 28 сентября, но ни у кого из знакомых автор «Ворона» так и не появился. Его обнаружили только во второй половине дня 3 октября, в таверне около избирательного участка, в сильно потрепанном виде и в одежде с чужого плеча. Не приходящего в сознание По, периодически впадающего в буйство и выкрикивающего: «Рейнольдс! Рейнольдс!», отправили в госпиталь, где он и скончался перед рассветом 6 октября 1849 года.

Загадка на загадке, неисчерпаемый материал для конспирологических теорий разной степени безумия и откровенных фантазий. Однако пуританская Америка вынесла свой вердикт быстро: виной всему пьянство и распущенность, а так же дурная наследственность, низкое происхождение, слабость характера и глубокая аморальность. Таким выводам немало поспособствовали Томас Инглиш с его романом «Гибель алкоголика» и Руфус Грисуолд, автор первых подробных (и далеко не лестных) воспоминаний об Эдгаре По.

По-разному объясняют слабость нашего героя и его защитники из числа позднейших биографов. Пил с горя, топил в вине обиды и разочарования, мысли о болезни медленно угасающей жены, позже – прятался в бутылке от всеамериканской травли. Стал жертвой тяжелой наследственной болезни: старший брат Эдгара По, моряк, сгорел от алкоголя в возрасте двадцати четырех лет, а младшая сестра всю жизнь страдала слабоумием. Любопытную теорию выдвигает в своей биографической книге Андрей Танасейчук: по его предположению, в силу низкой сопротивляемости алкоголю По было достаточно одной рюмки, чтобы напиться до бесчувствия. Биограф ссылается в частности на Майн Рида, который несколько лет плотно общался с поэтом: «Один бокал шампанского производил на него такое сокрушительное воздействие... что он едва ли потом мог нести ответственность за свои действия». Еще более сенсационную версию гибели По предложили медицинские журналисты Анна Хоружая и Алексей Паевский в книге «Смерть замечательных людей». Проанализировав известные нам симптомы, они пришли к выводу, что со спиртным гибель поэта вообще не связана: по их мнению, тот стал жертвой бешенства, вирусного инфекционного заболевания с инкубационным периодом от 10 дней до 3–4 месяцев, ведущего к помутнению рассудка, асфиксии и остановке сердца.

Очень хотелось бы, конечно, установить окончательную истину, ткнуть пальцем: вот это – стопроцентно подлинный Эдгар По, а все остальное – имитации, симулякры, более или менее сложные подделки. Но фигура такого масштаба, да еще при столь пристальном изучении, неизбежно распадается на пиксели, на отдельные точки даже у самого ответственного и беспристрастного исследователя. Пожалуй, настоящий Эдгар По (насколько близко вообще мы способны подобраться к истине) и есть сочетание несочетаемого: распутник и святой, расчетливый интриган и витающий в облаках мечтатель, критик и поэт, безумец и гений рационального мышления – все одновременно.

Ну а остальное о нем скажут его произведения, стихи и рассказы, рецензии и эссе. Хотя, конечно, и в этих текстах каждый читатель найдет только часть не поддающегося описанию целого – зато непременно обнаружит и что-то исключительное, особое, только своё.

© Василий Владимировский, 08.01.2019

Необыкновенное приключение некого Ганса Пфаала

*Мечтам безумным сердца
Я властелин отныне,
С горящим копьем и воздушным конем
Считаюсь я в пустыне.*

Песня Тома из Бедлама

Согласно последним известиям, полученным из Роттердама, в этом городе представители научно-философской мысли охвачены сильнейшим волнением. Там произошло нечто столь неожиданное, столь новое, столь несогласное с установившимися взглядами, что в непродолжительном времени, – я в этом не сомневаюсь, – будет взбудоражена вся Европа, естествоиспытатели всполошатся и в среде астрономов и натуралистов начнется смятение, невиданное до сих пор.

Произошло следующее. Такого-то числа и такого-то месяца (я не могу сообщить точной даты) огромная толпа почему-то собралась на Биржевой площади благоустроенного города Роттердама. День был теплый – совсем не по времени года, – без малейшего ветерка; и благодушное настроение толпы ничуть не омрачалось от того, что иногда ее спрыскивал мгновенный легкий дождичек из огромных белых облаков, в изобилии разбросанных по голубому небосводу. Тем не менее около полудня в толпе почувствовалось легкое, но необычайное беспокойство: десять тысяч языков забормотали разом; спустя мгновение десять тысяч трубок, словно по приказу, вылетели из десяти тысяч ртов и продолжительный, громкий, дикий вопль, который можно сравнить только с ревом Ниагары, раскатился по улицам и окрестностям Роттердама.

Причина этой суматохи вскоре выяснилась. Из-за резко очерченной массы огромного облака медленно выступил и обрисовался на ясной лазури какой-то странный, весьма пестрый, но, по-видимому, плотный предмет такой курьезной формы и из такого замысловатого материала, что толпа крепкоголовых бюргеров, стоявшая внизу разинув рты, могла только дивиться, ничего не понимая. Что же это такое? Ради всех чертей роттердамских, что бы это могло означать? Никто не знал, никто даже вообразить не мог, никто – даже сам бургомистр мингер Супербус ван Ундердук – не обладал ключом к этой тайне; и так как ничего более разумного нельзя было придумать, то в конце концов каждый из бюргеров сунул трубку обратно в угол рта и, не спуская глаз с загадочного явления, выпустил клуб дыма, приостановился, переступил с ноги на ногу, значительно хмыкнул – затем снова переступил с ноги на ногу, хмыкнул, приостановился и выпустил клуб дыма.

Тем временем объект столь усиленного любопытства и причина столь многочисленных затяжек спускался все ниже и ниже над этим прекрасным городом. Через несколько минут его можно было рассмотреть в подробностях. Казалось, это был... нет, это действительно был воздушный шар; но, без сомнения, такого шара еще не видывали в Роттердаме. Кто же, позвольте вас спросить, слышал когда-нибудь о воздушном шаре, склеенном из старых газет? В Голландии – никто, могу вас уверить; тем не менее в настоящую минуту под самым носом у собравшихся, или, точнее сказать, над носом, колыхалась на некоторой высоте именно эта самая штука, сделанная, по сообщению вполне авторитетного лица, из упомянутого материала, как всем известно, никогда дотоле не употреблявшегося для подобных целей, и этим наносилось жестокое оскорбление здравому смыслу роттердамских бюргеров. Форма «шара» оказалась еще обиднее. Он имел вид огромного дурацкого колпака, опрокинутого верхушкой вниз.

Это сходство ничуть не уменьшилось, когда, при более внимательном осмотре, толпа заметила огромную кисть, подвешенную к его заостренному концу, а вокруг верхнего края, или основания конуса, – ряд маленьких инструментов вроде бубенчиков, которые весело позванивали. Мало того, к этой фантастической машине была привешена вместо гондолы огромная темная кастановая шляпа с широчайшими полями и обвитая вокруг тульи черной лентой с серебряной пряжкой. Но странное дело: многие из роттердамских граждан готовы были побожиться, что им уже не раз случалось видеть эту самую шляпу, да и все сборище смотрело на нее, как на старую знакомую, а фрау Греттель Пфааль, испустив радостное восклицание, объявила, что это собственная шляпа ее дорогого муженька. Необходимо заметить, что лет пять тому назад Пфааль с тремя товарищами исчез из Роттердама самым неожиданным и необычным образом, и с тех пор не было о нем ни слуху ни духу. Позднее в глухом закоулке на восточной окраине города была обнаружена куча костей, по-видимому человеческих, вперемешку с какими-то странными тряпками и обломками, и некоторые из граждан даже вообразили, что здесь совершилось кровавое злодеяние, жертвой которого пали Ганс Пфааль и его товарищи. Но вернемся к происшествию.

Воздушный шар (так как это был несомненно воздушный шар) находился теперь на высоте какой-нибудь сотни футов, и публика могла свободно рассмотреть его пассажира. Правду сказать, это было очень странное создание. Рост его не превышал двух футов; но и при таком маленьком росте он легко мог потерять равновесие и кувырнуться за борт своей удивительной гондолы, если бы не обруч, помещенный на высоте его груди и прикрепленный к шару веревками. Толщина человечка совершенно не соответствовала росту и придавала всей его фигуре чрезвычайно нелепый шарообразный вид. Ног его, разумеется, не было видно. Руки отличались громадными размерами. Седые волосы были собраны на затылке и заплетены в косу. У него был красный, непомерно длинный, крючковатый нос, блестящие пронзительные глаза, морщинистые и вместе с тем пухлые щеки, но ни малейшего признака ушей где-либо на голове; странный старичок был одет в просторный атласный камзол небесно-голубого цвета и такого же цвета короткие панталоны в обтяжку, с серебряными пряжками у колен. Кроме того, на нем был жилет из какой-то ярко-желтой материи, мягкая белая шляпа, молодцевато сдвинутая набекрень, и кроваво-красный шелковый шейный платок, завязанный огромным бантом, концы которого франтовато спадали на грудь.

Когда оставалось, как уже сказано, каких-нибудь сто футов до земли, старичок внезапно засуетился, по-видимому не желая приближаться еще более к *terra firma*¹ большим усилием подняв полотняный мешок, он отсыпал из него немного песка, и шар на мгновение остановился в воздухе. Затем старичок торопливо вытащил из бокового кармана большую записную книжку в сафьяновом переплете и подозрительно взвесил в руке, глядя на нее с величайшим изумлением, очевидно пораженный ее тяжестью. Потом открыл книжку и, достав из нее пакет, запечатанный сургучом и тщательно перевязанный красною тесемкой, бросил его прямо к ногам бургомистра Супербуса ван Ундердука. Его превосходительство нагнулся, чтобы поднять пакет. Но аэронавт, по-прежнему в сильнейшем волнении и, очевидно, считая свои дела в Роттердаме поконченными, начал в ту самую минуту готовиться к отлету. Для этого потребовалось облегчить гондолу, и вот с полдюжины мешков, которые он выбросил, не потрудившись предварительно опорожнить их, один за другим шлепнулись на спину бургомистра и заставили этого сановника столько же раз перекувырнуться на глазах у всего города. Не следует думать, однако, что великий Ундердук оставил безнаказанной наглую выходку старикашки. Напротив, рассказывают, будто он, падая, каждый раз выпускал не менее полдюжины огромных и яростных клубов из своей трубки, которую все время крепко держал в зубах и намерен был держать (с божьей помощью) до последнего своего вздоха.

¹ Твердая земля (*лат.*).

Тем временем воздушный шар взвился, точно жаворонок, на громадную высоту и вскоре, исчезнув за облаком, в точности похожим на то, из-за которого он так неожиданно выплыл, скрылся навеки от изумленных взоров добрых роттердамцев. Внимание всех устремилось теперь на письмо, падение которого и последовавшие затем происшествия оказались столь оскорбительными для персоны и персонального достоинства его превосходительства ван Ундердука. Тем не менее этот сановник во время своих коловращений не упускал из вида письмо, которое, как оказалось при ближайшем рассмотрении, попало в надлежащие руки, будучи адресовано ему и профессору Рубадубу как президенту и вице-президенту Роттердамского астрономического общества. Итак, названные сановники распечатали письмо тут же на месте и нашли в нем следующее необычное и весьма важное сообщение:

«Их превосходительства господину ван Ундердуку и господину Рубадубу, президенту и вице-президенту Астрономического общества в городе Роттердаме.

Быть может, ваши превосходительства соизволят припомнить Ганса Пфааля, скромного ремесленника, занимавшегося починкой мехов для раздувания огня, – который вместе с тремя другими обывателями исчез из города Роттердама около пяти лет тому назад при обстоятельствах, можно сказать, чрезвычайных. Как бы то ни было, с позволения ваших превосходительств, я, автор настоящего сообщения, и есть тот самый Ганс Пфааль. Большинству моих сограждан известно, что в течение сорока лет я занимал небольшой кирпичный дом в конце переулка, именуемого переулком Кислой Капусты, где проживал вплоть до дня моего исчезновения. Предки мои с незапамятных времен обитали там же, подвизаясь на том же почетном и весьма прибыльном поприще починки мехов для раздувания огня. Ибо, говоря откровенно, до последних лет, когда весь народ прямо помешался на политике, ни один честный роттердамский гражданин не мог бы пожелать или заслужить право на лучшую профессию. Я пользовался широким кредитом, в работе никогда не было недостатка – словом, и денег и заказов было вдоволь. Но, как я уже сказал, мы скоро почувствовали, к чему ведет пресловутая свобода, бесконечные речи, радикализм и тому подобные штуки. Людям, которые раньше являлись нашими лучшими клиентами, теперь некогда было и подумать о нас, грешных. Они только и знали, что читать о революциях, следить за успехами человеческой мысли и приспособливаться к духу времени. Если требовалось растопить очаг, огонь раздували газетой; я не сомневаюсь, что, по мере того как правительство становилось слабее, железо и кожа выигрывали в прочности, так как в самое короткое время во всем Роттердаме не осталось и пары мехов, которые требовали бы помощи иглы или молотка. Словом, положение сделалось невыносимым. Вскоре я уже был беден как мышь, а надо было кормить жену и детей. В конце концов мне стало просто невтерпех, и я проводил целые часы, обдумывая, каким бы способом лишить себя жизни; но кредиторы не оставляли мне времени для размышлений. Мой дом буквально подвергался осаде с утра и до вечера. Трое заимодавцев особенно допекали меня, часами подстерегая у дверей и грозя судом. Я поклялся жестоко отомстить им, если только когда-нибудь они попадутся мне в лапы, и думаю, что лишь предвкушение этой мести помешало мне немедленно привести в исполнение мой план покончить с жизнью и раздробить себе череп выстрелом из мушкетона. Как бы то ни было, я счел за лучшее затаить свою злобу и умягчать ее ласковыми словами и обещаниями, пока благоприятный оборот судьбы не доставит мне случая для мести.

Однажды, ускользнув от них и чувствуя себя более чем когда-либо в угнетенном настроении, я бесцельно бродил по самым глухим улицам, пока не завернул случайно в лавочку букиниста. Увидев стул, приготовленный для посетителей, я угрюмо опустился на него и машинально раскрыл первую попавшуюся книгу. Это оказался небольшой полемический трактат по теоретической астрономии, сочинение не то берлинского профессора Энке, не то француза с такой же фамилией. Я немножко маракую в астрономии и вскоре совершенно углубился в чтение; я прочел книгу дважды, прежде чем сообразил, где я и что я. Тем временем стемнело,

и пора было идти домой. Но книжка (в связи с новым открытием по части пневматики, тайну которого сообщил мне недавно один мой родственник из Нанта) произвела на меня неизгладимое впечатление, и, блуждая по темным улицам, я размышлял о странных и не всегда понятных рассуждениях автора. Некоторые места особенно поразили мое воображение. Чем больше я раздумывал над ними, тем сильнее они занимали меня. Недостаточность моего образования и, в частности, отсутствие знаний по естественным наукам отнюдь не внушали мне недоверия к моей способности понять прочтенное или к тем смутным сведениям, которые явились результатом чтения, – все это только пуще разжигало мое воображение. Я был настолько безрассуден или настолько рассудителен, что спрашивал себя: точно ли нелепы фантастические идеи, возникающие в причудливых умах, и не обладают ли они в ряде случаев силой, реальностью и другими свойствами, присущими инстинкту или вдохновению?

Я пришел домой поздно и тотчас лег в постель. Но голова моя была слишком взбудоражена, и я целую ночь провел в размышлениях. Поднявшись спозаранку, я поспешил в книжную лавку и купил несколько трактатов по механике и практической астрономии, истратив на них всю имевшуюся у меня скудную наличность. Затем, благополучно вернувшись домой с приобретенными книгами, я стал посвящать чтению каждую свободную минуту и вскоре достиг знаний, которые счел достаточными для того, чтобы привести в исполнение план, внушенный мне дьяволом или моим добрым гением. В то же время я всеми силами старался уласить трех кредиторов, столь жестоко донимавших меня. В конце концов я преуспел в этом, уплатив половину долга из денег, вырученных от продажи кое-каких домашних вещей, и обещав уплатить остальное, когда приведу в исполнение один проект, в осуществлении которого они (люди совершенно невежественные) согласились мне помочь.

Уладив таким образом свои дела, я при помощи жены и с соблюдением строжайшей тайны постарался сбыть свое остальное имущество и собрал порядочную сумму денег, занимая по мелочам, где придется, под разными предложениями и (со стыдом должен сознаться) не имея притом никаких надежд возратить эти долги в будущем. На деньги, добытые таким путем, я помаленьку накопил: очень тонкого кембрикового муслина, кусками по двенадцати ярдов каждый, веревок, каучукового лака, широкую и глубокую плетеную корзину, сделанную по заказу, и разных других материалов, необходимых для сооружения и оснастки воздушного шара огромных размеров. Изготовление шара я поручил жене, дав ей надлежащие указания, и просил окончить работу как можно скорее; сам же тем временем сплел сетку, снабдив ее обручами и крепкими веревками, и приобрел множество инструментов и материалов для опытов в верхних слоях атмосферы. Далее, я перевез ночью в глухой закоулок на восточной окраине Роттердама пять бочек, обитых железными обручами, вместимостью в пятьдесят галлонов каждая, и шестую побольше, полдюжины жестяных труб в десять футов длиной и в три дюйма диаметром, запас особого металлического вещества, или полуметалла, название которого я не могу открыть, и двенадцать бутылей самой обыкновенной кислоты. Газа, получаемого с помощью этих материалов, еще никто, кроме меня, не добывал – или, по крайней мере, он никогда не применялся для подобной цели. Я могу только сообщить, что он является составной частью азота, так долго считавшегося неразложимым, и что плотность его в 37,4 раза меньше плотности водорода. Он не имеет вкуса, но обладает запахом; очищенный – горит зеленоватым пламенем и, безусловно, смертелен для всякого живого существа. Я мог бы описать его во всех подробностях, но, как уже наметнул выше, право на это открытие принадлежит по справедливости одному нантскому гражданину, который поделился со мною своей тайной на известных условиях. Он же сообщил мне, ничего не зная о моих намерениях, способ изготовления воздушных шаров из кожи одного животного, сквозь которую газ почти не проникает. Я, однако, нашел этот способ слишком дорогим и решил, что, в конце концов, кембриковый муслин, покрытый слоем каучука, ничуть не хуже. Упоминаю об этом, так как считаю весьма возможным, что мой нантский родственник попытается сделать воздушный шар с помощью

нового газа и материала, о котором я говорил выше, – и отнюдь не желаю отнимать у него честь столь замечательного открытия.

На тех местах, где во время наполнения шара должны были находиться бочки поменьше, я выкопал небольшие ямы, так что они образовали круг диаметром в двадцать пять футов. В центре этого круга была вырыта яма поглубже, над которой я намеревался поставить большую бочку. Затем я опустил в каждую из пяти маленьких ям ящик с порохом, по пятидесяти фунтов в каждом, а в большую – бочонок со ста пятьюдесятью фунтами пушечного пороха. Соединив бочонок и ящики подземными проводами и приспособив к одному из ящичков фитиль в четыре фута длиною, я прикрыл его бочкой, так что конец фитиля высовывался из-под нее только на дюйм; потом засыпал остальные ямы и установил над ними бочки в надлежащем положении.

Кроме перечисленных выше приспособлений, я припрятал в своей мастерской аппарат господина Гримма для сгущения атмосферного воздуха. Впрочем, эта машина, чтобы удовлетворить моим целям, потребовала значительных изменений. Но путем упорного труда и неустойчивой настойчивости мне удалось преодолеть все эти трудности. Вскоре мой шар был готов. Он вмещал более сорока тысяч кубических футов газа и легко мог поднять меня, мои запасы и сто семьдесят пять фунтов балласта. Шар был покрыт тройным слоем лака, и я убедился, что кембриковый муслин ничуть не уступает шелку, так же прочен, но гораздо дешевле.

Когда все было готово, я взял со своей жены клятву хранить в тайне все мои действия с того дня, когда я в первый раз посетил книжную лавку; затем, обещав вернуться, как только позволят обстоятельства, я отдал ей оставшиеся у меня деньги и распростился с нею. Мне нечего было беспокоиться на ее счет. Моя жена, что называется, ловкая баба и сумеет прожить на свете без моей помощи. Говоря откровенно, мне сдается, что она всегда считала меня лентяем, дармоедом, способным только строить воздушные замки, и была очень рада отделаться от меня. Итак, простившись с ней в одну темную ночь, я захватил с собой в качестве адъютантов трех кредиторов, доставивших мне столько неприятностей, и мы потащили шар, корзину и прочие принадлежности окольным путем к месту отправки, где уже были заготовлены все остальные материалы. Все оказалось в порядке, и я немедленно приступил к делу.

Было 1 апреля. Как я уже сказал, ночь стояла темная, на небе ни звездочки; моросил мелкий дождь, по милости которого мы чувствовали себя весьма скверно. Но пуше всего меня беспокоил шар, который, хотя и был покрыт лаком, однако сильно отяжелел от сырости; да и порох мог подмокнуть. Итак, я попросил моих трех кредиторов приняться за работу, и как можно ретивее: толочь лед около большой бочки и размешивать кислоту в остальных. Однако они смертельно надоедали мне вопросами – к чему все эти приготовления, и страшно злились на тяжелую работу, которую я заставил их делать. Какой прок, говорили они, выйдет из того, что они промокнут до костей, принимая участие в таком ужасном колдовстве? Я начинал чувствовать себя очень неловко и работал изо всех сил, так как эти дураки, видимо, действительно вообразили, будто я заключил договор с дьяволом. Я ужасно боялся, что они совсем уйдут от меня. Как бы то ни было, я старался уговорить их, обещая расплатиться полностью, лишь только мы доведем мое предприятие до конца. Без сомнения, они по-своему истолковали эти слова, решив, что я должен получить изрядную сумму чистоганом; а до моей души им, конечно, не было никакого дела – лишь бы я уплатил долг да прибавил малую толику за услуги.

Через четыре с половиной часа шар был в достаточной степени наполнен. Я привязал корзину и положил в нее мой багаж: зрительную трубку, высотомер с некоторыми важными усовершенствованиями, термометр, электрометр, компас, циркуль, секундные часы, колокольчик, рупор и прочее и прочее; кроме того, тщательно закупоренный пробкой стеклянный шар, из которого был выкачан воздух, аппарат для сгущения воздуха, запас негашеной извести, кусок воска и обильный запас воды и съестных припасов, главным образом пеммикана, который содержит много питательных веществ при сравнительно небольшом объеме. Я захватил также пару голубей и кошку.

Рассвет был близок, и я решил, что пора лететь. Уронив, словно нечаянно, сигару, я воспользовался этим предложением и, поднимая ее, зажег кончик фитиля, высовывавшийся, как было описано выше, из-под одной бочки меньшего размера. Этот маневр остался совершенно не замеченным моими кредиторами. Затем я вскочил в корзину, одним махом перерезал веревку, прикреплявшую шар к земле, и с удовольствием убедился, что поднимаюсь с головокружительной быстротой, унося с собою сто семьдесят пять фунтов балласта (а мог бы унести вдвое больше). В минуту взлета высотомер показывал тридцать дюймов, а термометр – 19 R.

Но едва я поднялся на высоту пятидесяти ярдов, как вдогонку мне взвился с ужаснейшим ревом и свистом такой страшный вихрь огня, песку, горящих обломков, расплавленного металла, растерзанных тел, что сердце мое замерло, и я повалился на дно корзины, дрожа от страха. Мне стало ясно, что я переусердствовал и что главные последствия толчка еще впереди. И точно, не прошло секунды, как вся моя кровь хлынула к вискам, и тотчас раздался взрыв, которого я никогда не забуду. Казалось, рушится самый небосвод. Впоследствии, размышляя над этим приключением, я понял, что причиной столь непомерной силы взрыва было положение моего шара как раз на линии сильнейшего действия этого взрыва. Но в ту минуту я думал только о спасении жизни. Сначала шар съезжился, потом завертелся с ужасающей быстротой и, наконец, крутясь и шатаясь, точно пьяный, выбросил меня из корзины, так что я повис на страшной высоте вниз головой на тонкой бечевке фута в три длиной, случайно проскользнувшей в отверстие близ дна корзины и каким-то чудом обмотавшейся вокруг моей левой ноги. Невозможно, решительно невозможно изобразить ужас моего положения. Я задыхался, дрожь, точно при лихорадке, сотрясала каждый нерв, каждый мускул моего тела, я чувствовал, что глаза мои вылезают из орбит, отвратительная тошнота подступала к горлу, – и наконец я лишился чувств.

Долго ли я провисел в таком положении, решительно не знаю. Должно быть, немало времени, ибо, когда я начал приходить в сознание, утро уже наступило, шар несся на чудовищной высоте над безбрежным океаном, и ни признака земли не было видно по всему широкому кругу горизонта. Я, однако, вовсе не испытывал такого отчаяния, как можно было ожидать. В самом деле, было что-то безумное в том спокойствии, с каким я принялся обсуждать свое положение. Я поднес к глазам одну руку, потом другую и удивился, отчего это вены на них налились кровью и ногти так страшно посинели. Затем тщательно исследовал голову, несколько раз потряхнул ею, ощупал очень подробно и наконец убедился, к своему удовольствию, что она отнюдь не больше воздушного шара, как мне сначала представилось. Потом я ощупал карманы брюк и, не найдя в них записной книжки и футлярчика с зубочистками, долго старался объяснить себе, куда они девались, но, не успев в этом, почувствовал невыразимое огорчение. Тут я ощутил крайнюю неловкость в левой лодыжке, и у меня явилось смутное сознание моего положения. Но странное дело – я не был удивлен и не ужаснулся. Напротив, я чувствовал какое-то острое удовольствие при мысли о том, что так ловко выпутаюсь из стоявшей передо мной дилеммы, и ни на секунду не сомневался в том, что не погибну. В течение нескольких минут я предавался глубокому раздумью. Совершенно отчетливо помню, что я поджимал губы, приставлял палец к носу и делал другие жесты и гримасы, как это в обычае у людей, когда они, спокойно сидя в своем кресле, размышляют над запутанными или сугубо важными вопросами. Наконец, собравшись с мыслями, я очень спокойно и осторожно засунул руки за спину и снял с ремня, стягивавшего мои панталоны, большую железную пряжку. На ней были три зубца, несколько заржавевшие и потому с трудом повертывавшиеся вокруг своей оси. Тем не менее мне удалось поставить их под прямым углом к пряжке, и я с удовольствием убедился, что они держатся в этом положении очень прочно. Затем, взяв в зубы пряжку, я постарался развязать галстук, что мне удалось не сразу, но в конце концов удалось. К одному концу галстука я прикрепил пряжку, а другой крепко обвязал вокруг запястья. Затем со страшным усилием мускулов качнулся вперед и забросил ее в корзину, где, как я и ожидал, она застряла в петлях плетения.

Теперь мое тело по отношению к краю корзины образовало угол градусов в сорок пять. Но это вовсе не значит, что оно только на сорок пять градусов отклонялось от вертикальной линии. Напротив, я лежал почти горизонтально, так как, переменив положение, заставил корзину сильно наклониться, и мне по-прежнему угрожала большая опасность. Но если бы, вылетев из корзины, я повис лицом к шару, а не наружу, если бы веревка, за которую я зацепился, перекинулась через край корзины, а не выскользнула в отверстие на дне, мне не удалось бы даже то небольшое, что удалось теперь, и мои открытия были бы утрачены для потомства. Итак, я имел все основания благодарить судьбу. Впрочем, в эту минуту я все еще был слишком ошеломлен, чтобы испытывать какие-либо чувства, и с добрые четверть часа провисел совершенно спокойно, в бессмысленно-радостном настроении. Вскоре, однако, это настроение сменилось ужасом и отчаянием. Я понял всю меру своей беспомощности и близости к гибели. Дело в том, что кровь, застоявшаяся так долго в сосудах головы и гортани и доведшая мой мозг почти до бреда, мало-помалу отхлынула, и прояснившееся сознание, раскрыв передо мною весь ужас положения, в котором я очутился, только лишило меня самообладания и мужества. К счастью, этот припадок слабости не был продолжителен. На помощь мне явилось отчаяние: с яростным криком, судорожно извиваясь и раскачиваясь, я стал метаться, как безумный, пока наконец, уцепившись, точно клещами, за край корзины, не перекинулся через него и, весь дрожа, не свалился на дно.

Лишь спустя некоторое время я опомнился настолько, что мог приняться за осмотр воздушного шара. К моей великой радости, он оказался неповрежденным. Все мои запасы уцелели; я не потерял ни провизии, ни балласта. Впрочем, я уложил их так тщательно, что это и не могло случиться. Часы показывали шесть. Я все еще быстро поднимался; высотомер показывал высоту в три и три четверти мили. Как раз подо мною, на океане, виднелся маленький черный предмет – продолговатый, величиной с косточку домино, да и всем видом напоминавший ее. Направив на него зрительную трубку, я убедился, что это девяносточетырехпушечный, тяжело нагруженный английский корабль, – он медленно шел в направлении вест-зюйд-вест. Кроме него, я видел только море, небо и солнце, которое давно уже взошло.

Но пора мне объяснить вашим превосходительствам цель моего путешествия. Ваши превосходительства соизволят припомнить, что расстроенные обстоятельства в конце концов заставили меня прийти к мысли о самоубийстве. Это не значит, однако, что жизнь сама по себе мне опротивела, – нет, мне стало только невтерпех мое бедственное положение. В этом состоянии, желая жить и в то же время измученный жизнью, я случайно прочел книжку, которая, в связи с открытием моего нантского родственника, доставила обильную пищу моему воображению. И тут я наконец нашел выход. Я решил исчезнуть с лица земли, оставшись тем не менее в живых; покинуть этот мир, продолжая существовать, – одним словом, я решил во что бы то ни стало добраться до луны. Чтобы не показаться совсем сумасшедшим, я теперь постараюсь изложить, как умею, соображения, в силу которых считал это предприятие – бесспорно трудное и опасное – все же не совсем безнадежным для человека отважного.

Прежде всего, конечно, возник вопрос о расстоянии луны от земли. Известно, что среднее расстояние между центрами этих двух небесных тел равно 59,9643 экваториальных радиусов земного шара, что составляет всего 237 000 миль. Я говорю о среднем расстоянии; но так как орбита луны представляет собой эллипс, эксцентриситет которого достигает в длину не менее 0,05484 большой полуоси самого эллипса, а земля расположена в фокусе последнего, – то, если бы мне удалось встретить луну в перигелии, вышеуказанное расстояние сократилось бы весьма значительно. Но, даже оставив в стороне эту возможность, достаточно вычесть из этого расстояния радиус земли, то есть 4000, и радиус луны, то есть 1080, а всего 5080 миль, и окажется, что средняя длина пути при обыкновенных условиях составит 23 1920 миль. Расстояние это не представляет собой ничего чрезвычайного. Путешествия на земле сплошь и рядом совершаются со средней скоростью шестьдесят миль в час, и, без сомнения, есть полная

возможность увеличить эту скорость. Но даже если ограничиться ею, то, чтобы достичь луны, потребуется не более 161 дня. Однако различные соображения заставляли меня думать, что средняя скорость моего путешествия намного превзойдет шестьдесят миль в час, и так как эти соображения оказали глубокое воздействие на мой ум, то я изложу их подробнее.

Прежде всего остановлюсь на следующем весьма важном пункте. Показания приборов при полетах говорят нам, что на высоте 1000 футов над поверхностью земли мы оставляем под собой около одной тридцатой части всей массы атмосферного воздуха, на высоте 10 600 футов – около трети, а на высоте 18 000 футов, то есть почти на высоте Котопакси, под нами остается половина, – по крайней мере, половина весомой массы воздуха, облегающего нашу планету. Вычислено также, что на высоте, не превосходящей одну сотую земного диаметра, то есть не более восьмидесяти миль, атмосфера разрежена до такой степени, что самые чувствительные приборы не могут обнаружить ее присутствия, и жизнь животного организма становится невозможной. Но я знал, что все эти расчеты основаны на опытном изучении свойств воздуха и законов его расширения и сжатия в непосредственном соседстве с землей, причем считается доказанным, что свойства животного организма не могут меняться ни на каком расстоянии от земной поверхности. Между тем выводы, основанные на таких данных, без сомнения проблематичны. Наибольшая высота, на которую когда-либо поднимался человек, достигнута аэронавтами гг. Гей-Люссаком и Био, поднявшимися на 25 000 футов. Высота очень незначительная, даже в сравнении с упомянутыми восьмьюдесятью милями. Стало быть, рассуждал я, тут останется мне немало места для сомнений и полный простор для догадок.

Кроме того, количество весомой атмосферы, которую шар оставляет за собою при подъеме, отнюдь не находится в прямой пропорции к высоте, а (как видно из вышеприведенных данных) в постоянно убывающем *ratio*². Отсюда ясно, что, на какую бы высоту мы ни поднялись, мы никогда не достигнем такой границы, выше которой вовсе не существует атмосферы. Она должна существовать, рассуждал я, хотя, быть может, в состоянии бесконечного разрежения.

С другой стороны, мне было известно, что есть достаточно оснований допускать существование реальной определенной границы атмосферы, выше которой воздуха безусловно нет. Но одно обстоятельство, упущенное из виду защитниками этой точки зрения, заставляло меня сомневаться в ее справедливости и во всяком случае считать необходимой серьезную проверку. Если сравнить интервалы между регулярными появлениями кометы Энке в ее перигелии, принимая в расчет возмущающее действие притяжения планет, то окажется, что эти интервалы постепенно уменьшаются, то есть главная ось орбиты становится все короче. Так и должно быть, если допустить существование чрезвычайно разреженной эфирной среды, сквозь которую проходит орбита кометы. Ибо сопротивление подобной среды, замедляя движение кометы, очевидно, должно увеличивать ее центростремительную силу, уменьшая центробежную. Иными словами, действие солнечного притяжения постоянно усиливается, и комета с каждым периодом приближается к солнцу. Другого объяснения этому изменению орбиты не придумаешь. Кроме того, замечено, что поперечник кометы быстро уменьшается с приближением к солнцу и столь же быстро принимает прежнюю величину при возвращении кометы в афелий. И разве это кажущееся уменьшение объема кометы нельзя объяснить, вместе с господином Вальцом, сгущением вышеупомянутой эфирной среды, плотность которой увеличивается по мере приближения к солнцу? Явление, известное под именем зодиакального света, также заслуживает внимания. Чаше всего оно наблюдается под тропиками и не имеет ничего общего со светом, излучаемым метеорами. Это светлые полосы, тянущиеся от горизонта наискось и вверх, по направлению солнечного экватора. Они, несомненно, имеют связь не только с разреженной атмосферой, простирающейся от солнца по меньшей мере до орбиты Венеры, а

² Порядок (*лат.*).

по моему мнению, и гораздо дальше.³ В самом деле, я не могу допустить, чтобы эта среда ограничивалась орбитой кометы или пространством, непосредственно примыкающим к солнцу. Напротив, гораздо легче предположить, что она наполняет всю нашу планетную систему, сгущаясь поблизости от планет и образуя то, что мы называем атмосферными оболочками, которые, быть может, также изменялись под влиянием геологических факторов, то есть смешивались с испарениями, выделявшимися той или другой планетой.

Остановившись на этой точке зрения, я больше не стал колебаться. Предполагая, что всюду на своем пути найду атмосферу, в основных чертах сходную с земной, я надеялся, что мне удастся с помощью остроумного аппарата господина Гримма сгустить ее в достаточной степени, чтобы дышать. Таким образом, главное препятствие для полета на луну устранялось. Я затратил немало труда и изрядную сумму денег на покупку и усовершенствование аппарата и не сомневался, что он успешно выполнит свое назначение, лишь бы путешествие не затянулось. Это соображение заставляет меня вернуться к вопросу о возможной скорости такого путешествия.

Известно, что воздушные шары в первые минуты взлета поднимаются сравнительно медленно. Быстрота подъема всецело зависит от разницы между плотностью атмосферного воздуха и газа, наполняющего шар. Если принять в расчет это обстоятельство, то покажется совершенно невероятным, чтобы скорость восхождения могла увеличиться в верхних слоях атмосферы, плотность которых быстро уменьшается. С другой стороны, я не знаю ни одного отчета о воздушном путешествии, в котором бы сообщалось об уменьшении скорости по мере подъема; а между тем она, несомненно, должна бы была уменьшаться – хотя бы вследствие просачивания газа сквозь оболочку шара, покрытую обыкновенным лаком, – не говоря о других причинах. Одна эта потеря газа должна бы тормозить ускорение, возникающее в результате удаления шара от центра земли. Имея в виду все эти обстоятельства, я полагал, что если только найду на моем пути среду, о которой упоминал выше, и если эта среда в основных своих свойствах будет представлять собой то самое, что мы называем атмосферным воздухом, то степень ее разрежения не окажет особого влияния – то есть не отразится на быстроте моего взлета, – так как по мере разрежения среды станет соответственно разрежаться и газ внутри шара (для предотвращения разрыва оболочки я могу выпускать его по мере надобности с помощью клапана); в то же время, оставаясь тем, что он есть, газ всегда окажется относительно легче, чем какая бы то ни была смесь азота с кислородом. Таким образом, я имел основание надеяться – даже, собственно говоря, быть почти уверенным, – что ни в какой момент моего взлета мне не придется достигнуть пункта, в котором вес моего огромного шара, заключенного в нем газа, корзины и ее содержимого превзойдет вес вытесняемого ими воздуха. А только это последнее обстоятельство могло бы остановить мое восхождение. Но если даже я и достигну такого пункта, то могу выбросить около трехсот фунтов балласта и других материалов. Тем временем сила тяготения будет непрерывно уменьшаться пропорционально квадратам расстояний, а скорость полета увеличиваться в чудовищной прогрессии, так что в конце концов я попаду в сферу, где земное притяжение уступит место притяжению луны.

Еще одно обстоятельство несколько смущало меня. Замечено, что при подъеме воздушного шара на значительную высоту воздухоплаватель испытывает, помимо затрудненного дыхания, ряд болезненных ощущений, сопровождающихся кровотечением из носа и другими тревожными признаками, которые усиливаются по мере подъема.⁴ Это обстоятельство наводило на размышления весьма неприятного свойства. Что, если эти болезненные явления будут

³ Этот зодиакальный свет, по всей вероятности, то же самое, что древние называли «огненными столбами»: *Emicant Trabes quos docos vocant*. См.: Плиний, II, 26. (*Прим. автора.*)

⁴ После опубликования отчета Ганса Пфаала я узнал, что известный аэронавт мистер Грин и другие позднейшие воздухоплаватели опровергают мнение Гумбольдта об этом предмете и говорят об уменьшении болезненных явлений, – вполне согласно с изложенной здесь теорией.

все усиливаться и окончатся смертью? Однако я решил, что этого вряд ли следует опасаться. Ведь их причина заключается в постепенном уменьшении обычного атмосферного давления на поверхность тела и в соответственном расширении поверхностных кровяных сосудов – а не в расстройстве органической системы, как при затрудненном дыхании, вызванном тем, что разреженный воздух по своему химическому составу недостаточен для обновления крови в желудочках сердца. Оставив в стороне это недостаточное обновление крови, я не вижу, почему бы жизнь не могла продолжаться даже в вакууме, так как расширение и сжатие груди, называемое обычно дыханием, есть чисто мышечное явление и вовсе не следствие, а причина дыхания. Словом, я рассудил, что когда тело привыкнет к недостаточному атмосферному давлению, болезненные ощущения постепенно уменьшатся, а я пока что уж как-нибудь перетерплю, здоровье у меня железное.

Таким образом, я, с позволения ваших превосходительств, подробно изложил некоторые – хотя далеко не все – соображения, которые легли в основу моего плана путешествия на луну. А теперь возвращусь к описанию результатов моей попытки – с виду столь безрассудной и, во всяком случае, единственной в летописях человечества.

Достигнув уже упомянутой высоты в три и три четверти мили, я выбросил из корзины горсть перьев и убедился, что шар мой продолжает подниматься с достаточной быстротой и, следовательно, пока нет надобности выбрасывать балласт. Я был очень доволен этим обстоятельством, так как хотел сохранить как можно больше тяжести, не зная наверняка, какова степень притяжения луны и плотность лунной атмосферы. Пока я не испытывал никаких болезненных ощущений, дышал вполне свободно и не чувствовал ни малейшей головной боли. Кошка расположилась на моем пальто, которое я снял, и с напускным равнодушием поглядывала на голубей. Голуби, которых я привязал за ноги, чтобы они не улетели, деловито клевали зерна риса, насыпанные на дно корзины. В двадцать минут седьмого высотомер показал высоту в 26 400 футов, то есть пять с лишним миль. Простор, открывавшийся подо мною, казался безграничным. На самом деле с помощью сферической тригонометрии нетрудно вычислить, какую часть земной поверхности я мог охватить взглядом. Ведь выпуклая поверхность сегмента шара относится ко всей его поверхности, как обращенный синус сегмента к диаметру шара. В данном случае обращенный синус – то есть, иными словами, толщина сегмента, находившегося подо мною, почти равнялась расстоянию, на котором я находился от земли, или высоте пункта наблюдения; следовательно, часть земной поверхности, доступная моему взору, выражалась отношением пяти миль к восьми тысячам. Иными словами, я видел одну тысячестисотую часть всей земной поверхности. Море казалось гладким, как зеркало, хотя в зрительную трубку я мог убедиться, что волнение на нем очень сильное. Корабль давно исчез в восточном направлении. Теперь я по временам испытывал жестокую головную боль, в особенности за ушами, хотя дышал довольно свободно. Кошка и голуби чувствовали себя, по-видимому, как нельзя лучше.

Без двадцати минут семь мой шар попал в слой густых облаков, которые причинили мне немало неприятностей, повредив сгущающий аппарат и промочив меня до костей. Это была, без сомнения, весьма странная встреча: я никак не ожидал, что подобные облака могут быть на такой огромной высоте. Все же я счел за лучшее выбросить два пятифунтовых мешка с балластом, оставив про запас сто шестьдесят пять фунтов. После этого я быстро выбрался из облаков и убедился, что скорость подъема значительно возросла. Спустя несколько секунд после того, как я оставил под собой облако, молния прорезала его с одного конца до другого, и все оно вспыхнуло, точно груды раскаленного угля. Напомню, что это происходило при ясном дневном свете. Никакая фантазия не в силах представить себе величие подобного явления; случись оно ночью, оно было бы точной картиной ада. Даже теперь волосы поднялись дыбом на моей голове, когда я смотрел в глубь этих зияющих бездн и мое воображение блуждало среди огненных зал с причудливыми сводами, развалин и пропастей, озаренных багровым, нездешним

светом. Я едва избежал опасности. Если бы шар помедлил еще немного внутри облака – иными словами, если бы сырость не заставила меня выбросить два мешка с балластом, – последствием могла быть – и была бы, по всей вероятности, – моя гибель. Такие случайности для воздушного шара, может быть, опаснее всего, хотя их обычно не принимают в расчет. Тем временем я оказался уже на достаточной высоте, чтобы считать себя застрахованным от дальнейших приключений в том же роде.

Я продолжал быстро подниматься, и к семи часам высотомер показал высоту не менее девяти с половиной миль. Мне уже становилось трудно дышать, голова мучительно болела, с некоторых пор я чувствовал какую-то влагу на щеках и вскоре убедился, что из ушей у меня течет кровь. Глаза тоже болели; когда я провел по ним рукой, мне показалось, что они вылезли из орбит; все предметы в корзине и самый шар приняли уродливые очертания. Эти болезненные симптомы оказались сильнее, чем я ожидал, и не на шутку встревожили меня. Расстроенный, хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делаю, я совершил нечто в высшей степени неблагоприятное: выбросил из корзины три пятифунтовых мешка с балластом. Шар рванулся и перенес меня сразу в столь разреженный слой атмосферы, что результат едва не оказался роковым для меня и моего предприятия. Я внезапно почувствовал припадок удушья, продолжавшийся не менее пяти минут; даже когда он прекратился, я не мог вздохнуть как следует. Кровь струилась у меня из носа, из ушей и даже из глаз. Голуби отчаянно бились, стараясь вырваться на волю; кошка жалобно мяукала и, высунув язык, металась туда и сюда, точно проглотила отраву. Слишком поздно поняв свою ошибку, я пришел в отчаяние. Я ожидал неминуемой и близкой смерти. Физические страдания почти лишили меня способности предпринять что-либо для спасения своей жизни, мозг почти отказывался работать, а головная боль усиливалась с каждой минутой. Чувствуя близость обморока, я хотел было дернуть веревку, соединенную с клапаном, чтобы спуститься на землю, – как вдруг вспомнил о том, что я проделал с кредиторами, и о вероятных последствиях, ожидающих меня в случае возвращения на землю. Это воспоминание остановило меня. Я лег на дно корзины и постарался собраться с мыслями. Это удалось мне настолько, что я решил пустить себе кровь. За неимением ланцета я произвел эту операцию, открыв вену на левой руке с помощью перочинного ножа. Как только потекла кровь, я почувствовал большое облегчение, а когда вышло с полчашки, худшие из болезненных симптомов совершенно исчезли. Все ж я не решился встать и, кое-как забинтовав руку, пролежал еще с четверть часа. Наконец я поднялся; оказалось, что все болезненные ощущения, преследовавшие меня в течение последнего часа, исчезли. Только дыхание было по-прежнему затруднено, и я понял, что вскоре придется прибегнуть к конденсатору. Случайно взглянув на кошку, которая снова улеглась на пальто, я увидел, к своему крайнему изумлению, что во время моего припадка она разрешилась тремя котятами. Этого прибавления пассажиров я отнюдь не ожидал, но был им очень доволен: оно давало мне возможность проверить гипотезу, которая более чем что-либо другое повлияла на мое решение. Я объяснял болезненные явления, испытываемые воздухоплавателем на известной высоте, привычкой к определенному давлению атмосферы около земной поверхности. Если котята будут страдать в такой же степени, как мать, то моя теория, видимо, ошибочна, если же нет – она вполне подтвердится.

К восьми часам я достиг семнадцати миль над поверхностью земли. Очевидно, скорость подъема возрастала, и если бы даже я не выбросил балласта, то заметил бы это ускорение, хотя, конечно, оно не совершилось бы так быстро. Жестокая боль в голове и ушах по временам возвращалась; иногда текла из носа кровь; но, в общем, страдания мои были гораздо незначительнее, чем я ожидал. Только дышать становилось все труднее, и каждый вздох сопровождался мучительными спазмами в груди. Я распаковал аппарат для конденсации воздуха и принялся налаживать его.

С этой высоты на землю открывался великолепный вид. К западу, к северу и к югу, насколько мог охватить глаз, расстилалась бесконечная гладь океана, приобретающая с каж-

дой минутой все более яркий голубой оттенок. Вдали, на востоке, вырисовывалась Великобритания, все атлантическое побережье Франции и Испании и часть северной окраины Африканского материка. Подробностей, разумеется, не было видно, и самые пышные города точно исчезли с лица земли.

Больше всего удивила меня кажущаяся вогнутость земной поверхности. Я, напротив, ожидал, что по мере подъема она будет представлять мне все более выпуклой; но, подумав немного, сообразил, что этого не могло быть. Перпендикуляр, опущенный из пункта моего наблюдения к земной поверхности, представлял бы собой один из катетов прямоугольного треугольника, основание которого простиралось до горизонта, а гипотенуза – от горизонта к моему шару. Но высота, на которой я находился, была ничтожна сравнительно с пространством, которое я мог обозреть. Иными словами, основание и гипотенуза упомянутого треугольника были бы так велики сравнительно с высотой, что могли бы считаться почти параллельными линиями. Поэтому горизонт для аэронавта остается всегда на одном уровне с корзиной. Но точка, находящаяся под ним внизу, кажется отстоящей и действительно отстоит на огромное расстояние – следовательно, ниже горизонта. Отсюда – впечатление вогнутости, которое и останется до тех пор, пока высота не достигнет такого отношения к диаметру видимого пространства, при котором кажущаяся параллельность основания и гипотенузы исчезнет.

Так как голуби все время жестоко страдали, я решил выпустить их. Сначала я отвязал одного – серого крапчатого красавца – и посадил на обруч сетки. Он очень забеспокоился, жалобно поглядывал кругом, хлопал крыльями, ворковал, но не решался вылететь из корзины. Тогда я взял его и отбросил ярдов на пять-шесть от шара. Однако он не полетел вниз, как я ожидал, а изо всех сил устремился обратно к шару, издавая резкие, пронзительные крики. Наконец ему удалось вернуться на старое место, но, едва усевшись на обруч, он уронил головку на грудь и упал мертвым в корзину. Другой был счастливее. Чтобы предупредить его возвращение, я изо всех сил швырнул его вниз и с радостью увидел, что он продолжает спускаться, быстро, легко и свободно взмахивая крыльями. Вскоре он исчез из вида и, не сомневаюсь, благополучно добрался до земли. Кошка, по-видимому, оправившаяся от своего припадка, с аппетитом съела мертвого голубя и улеглась спать. Котята были живы и не обнаруживали пока ни малейших признаков заболевания.

В четверть девятого, испытывая почти невыносимые страдания при каждом затрудненном вздохе, я стал прилаживать к корзине аппарат, составлявший часть конденсатора. Он требует, однако, более подробного описания. Ваши превосходительства благоволят заметить, что целью моею было защитить себя и корзину как бы барьером от разреженного воздуха, который теперь окружал меня, с тем чтобы ввести внутрь корзины нужный для дыхания конденсированный воздух. С этой целью я заготовил плотную, совершенно непроницаемую, но достаточно эластичную каучуковую камеру в виде мешка. В этот мешок поместилась вся моя корзина, то есть он охватывал ее дно и края до верхнего обруча, к которому была прикреплена сетка. Оставалось только стянуть края наверху, над обручем, то есть просунуть эти края между обручем и сеткой. Но если отделить сетку от обруча, чтобы пропустить края мешка, – на чем будет держаться корзина? Я разрешил это затруднение следующим образом: сетка не была наглухо соединена с обручем, а прикреплена посредством петель. Я снял несколько петель, предоставив корзине держаться на остальных, просунул край мешка над обручем и снова пристегнул петли, – не к обручу, разумеется, оттого что он находился под мешком, а к пуговицам на мешке, соответствовавшим петлям и пришитым футу на три ниже края; затем отстегнул еще несколько петель, просунул еще часть мешка и снова пристегнул петли к пуговицам. Таким образом, мне мало-помалу удалось пропустить весь верхний край мешка между обручем и сеткой. Понятно, что обруч опустился в корзину, которая со всем содержимым держалась теперь только на пуговицах. На первый взгляд это грозило опасностью – но лишь на первый взгляд: пуговицы были не только очень прочны сами по себе, но и посажены так тесно, что на каждую приходилась

лишь незначительная часть всей тяжести. Если бы корзина с ее содержимым была даже вдвое тяжелее, меня это ничуть бы не беспокоило. Я снова приподнял обруч и прикрепил его почти на прежней высоте с помощью трех заранее приготовленных перекладин. Это я сделал для того, чтобы мешок оставался наверху растянутым и нижняя часть сетки не изменила своего положения. Теперь оставалось только закрыть мешок, что я и сделал без труда, собрав складками его верхний край и стянув их туго-натуго при помощи устойчивого вертлюга.

В боковых стенках мешка были сделаны три круглые окошка с толстыми, но прозрачными стеклами, сквозь которые я мог смотреть во все стороны по горизонтали. Такое же окошко находилось внизу и соответствовало небольшому отверстию в дне корзины: сквозь него я мог смотреть вниз. Но вверху нельзя было устроить такое окно, ибо верхний, стянутый, край мешка был собран складками. Впрочем, в этом окне и надобности не было, так как шар все заслонил бы собою.

Под одним из боковых окошек, примерно на расстоянии фута, имелось отверстие дюйма в три диаметром; а в отверстие было вставлено медное кольцо с винтовыми нарезками на внутренней поверхности. В это кольцо ввинчивалась трубка конденсатора, помещавшегося, само собою разумеется, внутри каучуковой камеры. Через эту трубку разреженный воздух втягивался с помощью вакуума, образовавшегося в аппарате, сгущался и проходил в камеру. Повторив эту операцию несколько раз, можно было наполнить камеру воздухом, вполне пригодным для дыхания. Но в столь тесном помещении воздух, разумеется, должен был быстро портиться вследствие частого соприкосновения с легкими и становиться не пригодным для дыхания. Тогда его можно было выбрасывать посредством небольшого клапана на дне мешка; будучи более тяжелым, этот воздух быстро опускался вниз, рассеиваясь в более легкой наружной атмосфере. Из опасения создать полный вакуум в камере при выпуске воздуха, очистка последнего никогда не производилась сразу, а лишь постепенно. Клапан открывался секунды на две – на три, потом замыкался, и так – несколько раз, пока конденсатор не заменял вытесненный воздух запасом нового. Ради опыта я положил кошку и котят в корзиночку, которую подвесил снаружи к пуговице, находящейся подле клапана; открывая клапан, я мог кормить кошек по мере надобности. Я сделал это раньше, чем затянул камеру, с помощью одного из упомянутых выше шестов, поддерживавших обруч. Как только камера наполнилась сконденсированным воздухом, шесты и обруч оказались излишними, ибо, расширяясь, внутренняя атмосфера и без них растягивала каучуковый мешок.

Когда я приладил все эти приборы и наполнил камеру, было всего без десяти минут девять. Все это время я жестоко страдал от недостатка воздуха и горько упрекал себя за небрежность, или скорее за безрассудную смелость, побудившую меня отложить до последней минуты столь важное дело. Но, когда наконец все было готово, я тотчас почувствовал благотворные последствия своего изобретения. Я снова дышал легко и свободно, – да и почему бы мне не дышать? К моему удовольствию и удивлению, жестокие страдания, терзавшие меня до сих пор, почти совершенно исчезли. Осталось только ощущение какой-то раздутости или растяжения в запястьях, лодыжках и гортани. Очевидно, мучительные ощущения, вызванные недостаточным атмосферным давлением, давно прекратились, а болезненное состояние, которое я испытывал в течение последних двух часов, происходило только вследствие затрудненного дыхания.

В сорок минут девятого, то есть незадолго до того, как я затянул отверстие мешка, ртуть опустилась до нижнего уровня в высотомере. Я находился на высоте 132 000 футов, то есть двадцати пяти миль, и, следовательно, мог обозревать не менее одной триста двадцатой всей земной поверхности. В девять часов я снова потерял из виду землю на востоке, заметив при этом, что шар быстро несется в направлении норд-норд-вест. Расстилавшийся подо мною океан все еще казался вогнутым; впрочем, облака часто скрывали его от меня.

В половине десятого я снова выбросил из корзины горсть перьев. Они не полетели, как я ожидал, но упали, как пуля, – всей кучей, с невероятною быстротою, – и в несколько секунд

исчезли из виду. Сначала я не мог объяснить себе это странное явление; мне казалось невероятным, чтобы быстрота подъема так страшно возросла. Но вскоре я сообразил, что разреженная атмосфера уже не могла поддерживать перья, – они действительно упали с огромной быстротой; и поразившее меня явление обусловлено было сочетанием скорости падения перьев со скоростью подъема моего шара.

Часам к десяти мне уже нечего было особенно наблюдать. Все шло исправно; быстрота подъема, как мне казалось, постоянно возрастала, хотя я не мог определить степень этого возрастания. Я не испытывал никаких болезненных ощущений, а настроение духа было бодрее, чем когда-либо после моего вылета из Роттердама! Я коротал время, осматривая инструменты и обновляя воздух в камере. Я решил повторять это через каждые сорок минут – скорее для того, чтобы предохранить свой организм от возможных нарушений его деятельности, чем по действительной необходимости. В то же время я невольно уносился мыслями вперед. Воображение мое блуждало в диких, сказочных областях луны, необузданная фантазия рисовала мне обманчивые чудеса этого призрачного и неустойчивого мира. То мне мерещились дремучие вековые леса, крутые утесы, шумные водопады, низвергавшиеся в бездонные пропасти. То я переносился в пустынные просторы, залитые лучами полуденного солнца, куда ветерок не залетал от века, где воздух точно окаменел и всюду, куда хватает глаз, расстилаются луговины, поросшие маком и стройными лилиями, безмолвными, словно оцепеневшими. То вдруг являлось передо мною озеро, темное, неясное, сливавшееся вдаль с грядями облаков. Но не только эти картины рисовались моему воображению. Мне рисовались ужасы, один другого грознее и причудливее, и даже мысль об их возможности потрясала меня до глубины души. Впрочем, я старался не думать о них, справедливо полагая, что действительные и осязаемые опасности моего предприятия должны поглотить все мое внимание.

В пять часов пополудни, обновляя воздух в камере, я заглянул в корзину с кошками. Мать, по-видимому, жестоко страдала, несомненно, вследствие затрудненного дыхания; но котята изумили меня. Я ожидал, что они тоже будут страдать, хотя и в меньшей степени, чем кошка, что подтвердило бы мою теорию насчет нашей привычки к известному атмосферному давлению. Оказалось, однако, – чего я вовсе не ожидал, – что они совершенно здоровы, дышат легко и свободно и не обнаруживают ни малейших признаков какого-либо органического расстройства. Я могу объяснить это явление, только расширив мою теорию и предположив, что крайне разреженная атмосфера не представляет (как я вначале думал) со стороны ее химического состава никакого препятствия для жизни и существо, родившееся в такой среде, будет дышать в ней без всякого труда, а попавши в более плотные слои по соседству с землей, испытает те же мучения, которым я подвергался так недавно. Очень сожалею, что вследствие несчастной случайности я потерял эту кошачью семейку и не мог продолжать свои опыты. Просунув чашку с водой для старой кошки в отверстие мешка, я зацепил рукавом за шнурок, на котором висела корзинка, и дернул его с пуговицы. Если бы корзинка с кошками каким-нибудь чудом испарилась в воздухе – она не могла бы исчезнуть с моих глаз быстрее, чем сейчас. Не прошло положительно и десятой доли секунды, как она уже скрылась со всеми своими пассажирами. Я пожелал им счастливого пути, но, разумеется, не питал никакой надежды, что кошка или котята останутся в живых, дабы рассказать о своих бедствиях.

В шесть часов значительная часть земли на востоке покрылась густой тенью, которая быстро надвигалась, так что в семь без пяти минут вся видимая поверхность земли погрузилась в ночную тьму. Но долго еще после этого лучи заходящего солнца освещали мой шар; и это обстоятельство, которое, конечно, можно было предвидеть заранее, доставляло мне большую радость. Значит, я и утром увижу восходящее светило гораздо раньше, чем добрые граждане Роттердама, несмотря на более восточное положение этого города, и, таким образом, буду пользоваться все более и более продолжительным днем соответственно с высотой, которой буду

достигать. Я решил вести дневник моего путешествия, отмечая дни через каждые двадцать четыре часа и не принимая в расчет ночей.

В десять часов меня стало клонить ко сну, и я решил было улечься, но меня остановило одно обстоятельство, о котором я совершенно забыл, хотя должен был предвидеть его заранее. Если я засну, кто же будет накачивать воздух в камеру? Дышать в ней можно было самое большее час; если продлить этот срок даже на четверть часа, последствия могли быть самые губительные. Затруднение это очень смутило меня, и хотя мне едва ли поверят, но, несмотря на преодоление стольких опасностей, я готов был отчаяться перед новым, потерял всякую надежду на исполнение моего плана и уже подумывал о спуске. Впрочем, то было лишь минутное колебание. Я рассудил, что человек – верный раб привычек, и многие мелочи повседневной жизни только кажутся ему существенно важными, а на самом деле они сделались такими единственно в результате привычки. Конечно, я не мог обойтись без сна, но что мешало мне приучить себя просыпаться через каждый час в течение всей ночи? Для полного обновления воздуха достаточно было пяти минут. Меня затруднял только способ, каким я буду будить себя в надлежащее время. Правду сказать, я долго ломал себе голову над разрешением этого вопроса. Я слышал, что студенты прибегают к такому приему: взяв в руку медную пулю, держат ее над медным тазиком; и, если студенту случится задремать над книгой, пуля падает, и ее звон о тазик будит его. Но для меня подобный способ вовсе не годился, так как я не намерен был бодрствовать все время, а хотел лишь просыпаться через определенные промежутки времени. Наконец я придумал приспособление, которое при всей своей простоте показалось мне в первую минуту открытием не менее блестящим, чем изобретение телескопа, паровой машины или даже книгопечатания.

Необходимо заметить, что на той высоте, которой я достиг в настоящее время, шар продолжал подниматься без толчков и отклонений, совершенно равномерно, так что корзина не испытывала ни малейшей тряски. Это обстоятельство явилось как нельзя более кстати для моего изобретения. Мой запас воды помещался в бочонках, по пяти галлонов каждый, они были выстроены вдоль стенки корзины. Я отвязал один бочонок и, достав две веревки, натянул их поперек корзины вверх, на расстоянии фута одну от другой, так что они образовали нечто вроде полки. На эту полку я взгромоздил бочонок, положив его горизонтально. Под бочонком, на расстоянии восьми дюймов от веревок и четырех футов от дна корзины, прикрепил другую полку, употребив для этого тонкую дощечку, единственную, имевшуюся у меня в запасе. На дощечку поставил небольшой глиняный кувшинчик. Затем провертел дырку в стенке бочонка над кувшином и заткнул ее втулкой из мягкого дерева. Вдвигая и выдвигая втулку, я наконец установил ее так, чтобы вода, просачиваясь сквозь отверстие, наполняла кувшинчик до краев за шестьдесят минут. Рассчитать это было нетрудно, проследив, какая часть кувшина наполняется в известный промежуток времени. Остальное понятно само собою. Я устроил себе постель на дне корзины так, чтобы голова приходилась под носиком кувшина. Ясно, что по истечении часа вода, наполнив кувшин, должна была выливаться из носика, находившегося несколько ниже его краев. Ясно также, что, орошая лицо мое с высоты четырех футов, вода должна была разбудить меня, хотя бы я заснул мертвым сном.

Было уже одиннадцать часов, когда я покончил с устройством этого будильника. Затем я немедленно улегся спать, вполне положившись на мое изобретение. И мне не пришлось разочароваться в нем. Точно через каждые шестьдесят минут я вставал, разбуженный моим верным хронометром, выливал из кувшина воду обратно в бочонок и, обновив воздух с помощью конденсатора, снова укладывался спать. Эти регулярные перерывы в сне беспокоили меня даже меньше, чем я ожидал. Когда я встал утром, было уже семь часов, и солнце поднялось на несколько градусов над линией горизонта.

3 апреля. Я убедился, что мой шар находится на огромной высоте, так как выпуклость земли была теперь ясно видна. Подо мной, в океане, можно было различить скопление каких-

то темных пятен – без сомнения, острова. Небо над головой казалось агатово-черным, звезды блистали; они стали видны с первого же дня моего полета. Далеко по направлению к северу я заметил тонкую белую, ярко блестящую линию, или полосу, на краю неба, в которой, не колеблясь, признал южную окраину полярных льдов. Мое любопытство было сильно возбуждено, так как я рассчитывал, что буду лететь гораздо дальше к северу и, может быть, окажусь над самым полюсом. Я пожалел, что огромная высота, на которой я находился, не позволит мне осмотреть его как следует. Но все-таки я мог заметить многое.

В течение дня не случилось ничего особенного. Все мои приборы действовали исправно, и шар поднимался без всяких толчков. Сильный холод заставил меня плотнее закутаться в пальто. Когда земля оделась ночным мраком, я улегся спать, хотя еще много часов спустя вокруг моего шара стоял белый день. Водяные часы добросовестно исполняли свою обязанность, и я спокойно проспал до утра, пробуждаясь лишь для того, чтобы обновить воздух.

4 апреля. Встал здоровым и бодрым и был поражен тем, как странно изменился вид океана. Он утратил свою темно-голубую окраску и казался серовато-белым, притом он ослепительно блистел. Выпуклость океана была видна так четко, что громада воды, находившейся подо мною, точно низвергалась в пучину по краям неба, и я невольно прислушивался, стараясь расслышать грохот этих мощных водопадов. Островов не было видно, потому ли, что они исчезли за горизонтом в юго-восточном направлении, или все растущая высота уже лишала меня возможности видеть их. Последнее предположение казалось мне, однако, более вероятным. Полоса льдов на севере выступала все яснее. Холод не усиливался. Ничего особенного не случилось, и я провел день за чтением книг, которые захватил с собою.

5 апреля. Отмечаю любопытный феномен: солнце взошло, однако вся видимая поверхность земли все еще была погружена в темноту. Но мало-помалу она осветилась, и снова показалась на севере полоса льдов. Теперь она выступала очень ясно и казалась гораздо темнее, чем воды океана. Я, очевидно, приближался к ней, и очень быстро. Мне казалось, что я различаю землю на востоке и на западе, но я не был в этом уверен. Температура умеренная. В течение дня не случилось ничего особенного. Рано лег спать.

6 апреля. Был удивлен, увидев полосу льда на очень близком расстоянии, а также бесконечное ледяное поле, простиравшееся к северу. Если шар сохранит то же направление, то я скоро окажусь над Ледовитым океаном и несомненно увижу полюс. В течение дня я неуклонно приближался ко льдам. К ночи пределы моего горизонта неожиданно и значительно расширились, без сомнения потому, что земля имеет форму сплюснутого сфероида, и я находился теперь над плоскими областями вблизи Полярного круга. Когда наступила ночь, я лег спать, охваченный тревогой, ибо опасался, что предмет моего любопытства, скрытый ночной темнотой, ускользнет от моих наблюдений.

7 апреля. Встал рано и, к своей великой радости, действительно увидел Северный полюс. Не было никакого сомнения, что это именно полюс и он находится прямо подо мною. Но, увы! Я поднялся на такую высоту, что ничего не мог рассмотреть в подробностях. В самом деле, если составить прогрессию моего восхождения на основании чисел, указывавших высоту шара в различные моменты между шестью утра 2 апреля и девятью без двадцати минут утра того же дня (когда высотомер перестал действовать), то теперь, в четыре утра 7 апреля, шар должен был находиться на высоте не менее 7254 миль над поверхностью океана. (С первого взгляда эта цифра может показаться грандиозной, но, по всей вероятности, она была гораздо ниже действительной.) Во всяком случае, я видел всю площадь, соответствовавшую большому диаметру земли; все северное полушарие лежало подо мною наподобие карты в ортографической проекции, и линия экватора образовывала линию моего горизонта. Итак, ваши превосходства без труда поймут, что лежавшие подо мною неизведанные области в пределах Полярного круга находились на столь громадном расстоянии и в столь уменьшенном виде, что рассмотреть их подробно было невозможно. Все же мне удалось увидеть кое-что замечательное. К северу

от упомянутой линии, которую можно считать крайней границей человеческих открытий в этих областях, расстилось сплошное, или почти сплошное, поле. Поверхность его, будучи вначале плоской, мало-помалу понижалась, принимая заметно вогнутую форму, и завершалась у самого полюса круглой, резко очерченной впадиной. Последняя казалась гораздо темнее остального полушария и была местами совершенно черного цвета. Диаметр впадины соответствовал углу зрения в шестьдесят пять секунд. Больше ничего нельзя было рассмотреть. К двенадцати часам впадина значительно уменьшилась, а в семь пополудни я потерял ее из вида: шар миновал западную окраину льдов и несся по направлению к экватору.

8 апреля. Видимый диаметр земли заметно уменьшился, окраска совершенно изменилась. Вся доступная наблюдению площадь казалась бледно-желтого цвета различных оттенков, местами блестела так, что больно было смотреть. Кроме того, мне сильно мешала насыщенная испарениями плотная земная атмосфера; я лишь изредка видел самую землю в просветах между облаками. В течение последних сорока восьми часов эта помеха давала себя чувствовать в более или менее сильной степени, а при той высоте, которой теперь достиг шар, груды облаков сблизилась в поле зрения еще теснее, и наблюдать землю становилось все затруднительнее. Тем не менее я убедился, что шар летит над областью Великих озер в Северной Америке, стремясь к югу, и я скоро достигну тропиков. Это обстоятельство весьма обрадовало меня, так как сулило успех моему предприятию. В самом деле, направление, в котором я несся до сих пор, крайне тревожило меня, так как, продолжая двигаться в том же направлении, я бы вовсе не попал на луну, орбита которой наклонена к эклиптике под небольшим углом в $5^{\circ}8'48''$. Странно, что я так поздно уразумел свою ошибку: мне следовало подняться из какого-нибудь пункта в плоскости лунного эллипса.

9 апреля. Сегодня диаметр земли значительно уменьшился, окраска ее приняла более яркий желтый оттенок. Мой шар держал курс на юг, и в девять утра он достиг северной окраины Мексиканского залива.

10 апреля. Около пяти часов утра меня разбудил оглушительный треск, который я решительно не мог себе объяснить. Он продолжался всего несколько мгновений и не походил ни на один из слышанных мною доселе звуков. Нечего и говорить, что я страшно перепугался; в первую минуту мне почудилось, что шар лопнул. Я осмотрел свои приборы, однако все они оказались в порядке. Большую часть дня я провел в размышлениях об этом странном треске, но не мог никак его объяснить. Лег спать крайне обеспокоенный и взволнованный.

11 апреля. Диаметр земли поразительно уменьшился, и я в первый раз заметил значительное увеличение диаметра луны. Теперь приходилось затрачивать немало труда и времени, чтобы сгустить достаточно воздуха, нужного для дыхания.

12 апреля. Странно изменилось направление шара; и хотя я предвидел это заранее, но все-таки обрадовался несказанно. Достигнув двадцатой параллели Южного полушария, шар внезапно повернул под острым углом на восток и весь день летел в этом направлении, оставаясь в плоскости лунного эллипса. Достоин замечания, что следствием этой перемены было довольно заметное колебание корзины, ощущавшееся в течение нескольких часов.

13 апреля. Снова был крайне встревожен громким треском, который так меня напугал десятого. Долго думал об этом явлении, но ничего не мог придумать. Значительное уменьшение диаметра земли: теперь его угловая величина лишь чуть побольше двадцати пяти градусов. Луна находится почти у меня над головой, так что я не могу ее видеть. Шар по-прежнему летит в ее плоскости, переместившись несколько на восток.

14 апреля. Стремительное уменьшение диаметра земли. Шар, по-видимому, поднялся над линией абсид по направлению к перигелию – то есть, иными словами, стремится прямо к луне, в части ее орбиты, наиболее близкой к земному шару. Сама луна находится над моей головой, то есть недоступна наблюдению. Обновление воздуха в камере потребовало усиленного и продолжительного труда.

15 апреля. На земле нельзя рассмотреть даже самых общих очертаний материков и морей. Около полудня я в третий раз услышал загадочный треск, столь поразивший меня раньше. Теперь он продолжался несколько секунд, постепенно усиливаясь. Оцепенев от ужаса, я ожидал какой-нибудь страшной катастрофы, когда корзину вдруг сильно встряхнуло и мимо моего шара с ревом, свистом и грохотом пронеслась огромная огненная масса. Оправившись от ужаса и изумления, я сообразил, что это должен быть вулканический обломок, выброшенный с небесного тела, к которому я так быстро приближался, и, по всей вероятности, принадлежащий к разряду тех странных камней, которые попадают иногда на нашу землю и называются метеорами.

16 апреля. Сегодня, заглянув в боковые окна камеры, я, к своему великому удовольствию, увидел, что край лунного диска выступает над шаром со всех сторон. Я был очень взволнован, чувствуя, что скоро наступит конец моему опасному путешествию. Действительно, конденсация воздуха требовала таких усилий, что она отнимала у меня все время. Спать почти не приходилось. Я чувствовал мучительную усталость и совсем обессилел. Человеческая природа не способна долго выдерживать такие страдания. Во время короткой ночи мимо меня опять пронесся метеор. Они появлялись все чаще, и это не на шутку стало пугать меня.

17 апреля. Сегодня – достопамятный день моего путешествия. Если припомните, 13 апреля угловая величина земли достигала всего двадцати пяти градусов. Четырнадцатого она очень уменьшилась, пятнадцатого – еще значительно, а шестнадцатого, ложась спать, я отметил угол в $7^{\circ}15'$. Каково же было мое удивление, когда, пробудившись после непродолжительного и тревожного сна утром 17 апреля, я увидел, что поверхность, находившаяся подо мною, вопреки всяким ожиданиям увеличилась и достигла не менее тридцати девяти градусов в угловом диаметре! Меня точно обухом по голове ударили. Безграничный ужас и изумление, которых не передашь никакими словами, поразили, ошеломили, раздавили меня. Колени мои дрожали, зубы выбивали дробь, волосы поднялись дыбом. «Значит, шар лопнул! – мелькнуло в моем уме. – Шар лопнул! Я падаю! Падаю с невероятной, неслыханной быстротой! Судя по тому громадному расстоянию, которое я уже пролетел, не пройдет и десяти минут, как я ударюсь о землю и разобьюсь вдребезги». Наконец ко мне вернулась способность мыслить; я опомнился, подумал, стал сомневаться. Нет, это невероятно. Я не мог так быстро спуститься. К тому же, хотя я, очевидно, приближался к расстилавшейся подо мною поверхности, но вовсе не так быстро, как мне показалось в первую минуту. Эти размышления несколько успокоили меня, и я наконец понял, в чем дело. Если бы испуг и удивление не отбили у меня всякую способность соображать, я бы с первого взгляда заметил, что поверхность, находившаяся подо мною, ничуть не похожа на поверхность моей матери-земли. Последняя находилась теперь наверху, над моей головой, а внизу, под моими ногами, была луна во всем ее великолепии.

Мои растерянность и изумление при таком необычайном повороте дела непонятны мне самому. Этот *bouleversement*⁵ не только был совершенно естествен и необходим, но я заранее знал, что он неизбежно свершится, когда шар достигнет того пункта, где земное притяжение уступит место притяжению луны, – или, точнее, тяготение шара к земле будет слабее его тяготения к луне. Правда, я только что проснулся и не успел еще прийти в себя, когда заметил нечто поразительное; и хотя я мог это предвидеть, но в настоящую минуту вовсе не ожидал. Поворот шара, очевидно, произошел спокойно и постепенно, и если бы я даже проснулся вовремя, то вряд ли мог бы заметить его по какому-нибудь изменению внутри камеры.

Нужно ли говорить, что, опомнившись после первого изумления и ужаса и ясно сообразив, в чем дело, я с жадностью принялся рассматривать поверхность луны. Она расстилалась подо мною, точно карта, и, хотя находилась еще очень далеко, все ее очертания выступали вполне ясно. Полное отсутствие океанов, морей, даже озер и рек – словом, каких бы то ни

⁵ Переворот (*фр.*).

было водных бассейнов – сразу бросилось мне в глаза, как самая поразительная черта лунной орографии. При всем том, как это ни странно, я мог различить обширные равнины, очевидно, наносного характера, хотя большая часть поверхности была усеяна бесчисленными вулканами конической формы, которые казались скорее насыпными, чем естественными возвышениями. Самый большой не превосходил трех – трех с четвертью миль. Впрочем, карта вулканической области Флегрейских полей даст вашим превосходительствам лучшее представление об этом ландшафте, чем какое-либо описание. Большая часть вулканов действовала, и я мог судить о бешеной силе извержений по обилию принятых мной за метеоры камней, все чаще пролетавших с громом мимо шара.

18 апреля. Объем луны очень увеличился, и быстрота моего спуска стала сильно тревожить меня. Я уже говорил, что мысль о существовании лунной атмосферы, плотность которой соответствует массе луны, играла немаловажную роль в моих соображениях о путешествии на луну, – несмотря на существование противоположных теорий и широко распространенное убеждение, что на нашем спутнике нет никакой атмосферы. Но, независимо от вышеупомянутых соображений относительно кометы Энке и зодиакального света, мое мнение в значительной мере опиралось на некоторые наблюдения г-на Шретера из Лилиенталя. Он наблюдал луну на третий день после новолуния, вскоре после заката солнца, когда темная часть диска была еще незрима, и продолжал следить за ней до тех пор, пока она не стала видима. Оба рога казались удлинненными, и их тонкие бледные кончики были слабо освещены лучами заходящего солнца. Вскоре по наступлении ночи темный диск осветился. Я объясняю это удлинение рогов преломлением солнечных лучей в лунной атмосфере. Высоту этой атмосферы (которая может преломлять достаточное количество лучей, чтобы вызвать в темной части диска свечение вдвое более сильное, чем свет, отражаемый от земли, когда луна отстоит на 32° от точки новолуния) я принимал в 1356 парижских футов; следовательно, максимальную высоту преломления солнечного луча – в 5376 футов. Подтверждение моих взглядов я нашел в восьмидесяти втором томе «Философских трудов», где говорится об оккультации спутников Юпитера, причем третий спутник стал неясным за одну или две секунды до исчезновения, а четвертый исчез на некотором расстоянии от диска.⁶

От степени сопротивления или, вернее сказать, от поддержки, которую эта предполагаемая атмосфера могла оказать моему шару, зависел всецело и благополучный исход путешествия. Если же я ошибся, то мог ожидать только конца своим приключениям: мне предстояло разлететься на атомы, ударившись о скалистую поверхность луны. Судя по всему, я имел полное основание опасаться подобного конца. Расстояние до луны было сравнительно ничтожно, а обновление воздуха в камере требовало такой же работы, и я не замечал никаких признаков увеличения плотности атмосферы.

19 апреля. Сегодня утром, около девяти часов, когда поверхность луны угрожающе приблизилась и мои опасения дошли до крайних пределов, насос конденсатора, к великой моей радости, показал наконец очевидные признаки изменения плотности атмосферы.

К десяти часам плотность эта значительно возросла. К одиннадцати аппарат требовал лишь ничтожных усилий, а в двенадцать я решился – после некоторого колебания – отвинтить вертлюг; и, убедившись, что ничего вредного для меня не последовало, я развязал гуттаперчевый мешок и отогнул его края. Как и следовало ожидать, непосредственным результатом

⁶ Гевелий пишет, что, наблюдая луну на той же высоте, в том же расстоянии от земли и в тот же превосходный телескоп, при совершенно ясном небе, даже когда были видимы звезды шестой и седьмой величины, он, однако, не всегда находил ее одинаково ясной. Наблюдения показывают, что причину этого нельзя искать в нашей атмосфере, в свойствах телескопа или в глазу наблюдателя, а что она коренится в чем-то (в атмосфере?), присущем самой луне. Кассини часто замечал, что при оккультации Сатурна, Юпитера, неподвижных звезд их круглая форма сменяется овальной в момент сближения с лунным диском, хотя при многих оккультациях этого изменения формы не замечается. Отсюда можно заключить, что, по крайней мере, иногда лучи планет и звезд встречают лунную атмосферу и преломляются в ней. (*Прим. автора.*)

этого слишком поспешного и рискованного опыта была жесточайшая головная боль и удушье. Но, так как они не угрожали моей жизни, я решился претерпеть их в надежде на облегчение при спуске в более плотные слои атмосферы. Спуск, однако, происходил с невероятной быстротой, и хотя мои расчеты на существование лунной атмосферы, плотность которой соответствовала бы массе спутника, по-видимому, оправдывались, но я, очевидно, ошибся, полагая, что она способна поддержать корзину со всем грузом. А между тем этого надо было ожидать, так как сила тяготения и, следовательно, вес предметов также соответствуют массе небесного тела. Но головокружительная быстрота моего спуска ясно доказывала, что этого на самом деле не было. Почему?.. Единственное объяснение я вижу в тех геологических возмущениях, на которые указывал выше. Во всяком случае, я находился теперь совсем близко от луны и стремился к ней со страшною быстротой. Итак, не теряя ни минуты, я выбросил за борт балласт, бочки с водой, конденсирующий прибор, каучукową камеру и, наконец, все, что только было в корзине. Ничто не помогало. Я по-прежнему падал с ужасающей быстротой и находился самое большее в полумиле от поверхности. Оставалось последнее средство: выбросив сюртук и сапоги, я отрезал даже корзину, повис на веревках и, успев только заметить, что вся площадь подо мной, насколько видит глаз, усеяна крошечными домиками, очутился в центре странного, фантастического города, среди толпы уродцев, которые, не говоря ни слова, не издавая ни звука, словно какое-то сборище идиотов, потешно скалили зубы и, подбоченившись, разглядывали меня и мой шар. Я с презрением отвернулся от них, посмотрел, подняв глаза, на землю, так недавно – и, может быть, навсегда, – покинутую мною, и увидел ее в виде большого медного щита, около двух градусов в диаметре, тускло блестевшего высоко над моей головой, причем один край его, в форме серпа, горел ослепительным золотым блеском. Никаких признаков воды или суши не было видно, – я заметил только тусклые, изменчивые пятна да тропический и экваториальный пояс.

Так, с позволения ваших превосходительств, после жестоких страданий, неслыханных опасностей, невероятных приключений, на девятнадцатый день моего отбытия из Роттердама я благополучно завершил свое путешествие, – без сомнения, самое необычайное и самое замечательное из всех путешествий, когда-либо совершенных, предпринятых или задуманных жителями земли. Но рассказ о моих приключениях еще далеко не кончен. Ваши превосходительства сами понимают, что, проведя около пяти лет на спутнике земли, представляющем глубокий интерес не только в силу своих особенностей, но и вследствие своей тесной связи с миром, обитаемом людьми, я мог бы сообщить Астрономическому обществу немало сведений, гораздо более интересных, чем описание моего путешествия, как бы оно ни было удивительно само по себе. И я действительно могу открыть многое и сделал бы это с величайшим удовольствием. Я мог бы рассказать вам о климате луны и о странных колебаниях температуры – невыносимом тропическом зное, который сменяется почти полярным холодом, – о постоянном перемещении влаги вследствие испарения, точно в вакууме, из пунктов, находящихся ближе к солнцу, в пункты, наиболее удаленные от него; об изменчивом поясе текучих вод; о здешнем населении – его обычаях, нравах, политических учреждениях; об особой физической организации здешних обитателей, об их уродливости, отсутствии ушей – придатков, совершенно излишних в этой своеобразной атмосфере; об их способе общения, заменяющем здесь дар слова, которого лишены лунные жители; о таинственной связи между каждым обитателем луны и определенным обитателем земли (подобная же связь существует между орбитами планеты и спутника), благодаря чему жизнь и участь населения одного мира теснейшим образом переплетаются с жизнью и участью населения другого; а главное – главное, ваши превосходительства, – об ужасных и отвратительных тайнах, существующих на той стороне луны, которая, вследствие удивительного совпадения периодов вращения спутника вокруг собственной оси и обращения его вокруг земли, недоступна и, к счастью, никогда не станет доступной для земных телескопов. Все это – и многое, многое еще – я охотно изложил бы в подобном сообще-

нии. Но скажу прямо, я требую за это вознаграждения. Я жажду вернуться к родному очагу, к семье. И в награду за дальнейшие сообщения – принимая во внимание, какой свет я могу пролить на многие отрасли физического и метафизического знания, – я желал бы выхлопотать себе через посредство вашего почтенного общества прощение за убийство трех кредиторов при моем отбытии из Роттердама. Такова цель настоящего письма. Податель его – один из жителей луны, которому я растолковал все, что нужно, – к услугам ваших превосходительств; он сообщит мне о прощении, буде его можно получить.

*Примите и проч. Ваших превосходительств
покорнейший слуга,
Ганс Пфааль».*

Окончив чтение этого необычайного послания, профессор Рубадуб, говорят, даже трубку выронил, так он был изумлен, а мингер Супербус ван Ундердук снял очки, протер их, положил в карман и от удивления настолько забыл о собственном достоинстве, что, стоя на одной ноге, завертелся волчком. Разумеется, прощение будет выхлопотано, – об этом и толковать нечего. Так, по крайней мере, поклялся в самых энергических выражениях профессор Рубадуб. То же подумал и блистательный ван Ундердук, когда, опомнившись наконец, взял под руку своего ученого собрата и направился домой, чтобы обсудить на досуге, как лучше взяться за дело. Однако, дойдя до двери бургомистрова дома, профессор решился заметить, что в прощении едва ли окажется нужда, так как посланец с луны исчез, без сомнения испугавшись суровой и дикой наружности роттердамских граждан, – а кто, кроме обитателя луны, отважится на такое путешествие? Бургомистр признал справедливость этого замечания, чем дело и кончилось. Но не кончились толки и сплетни. Письмо было напечатано и вызвало немало обсуждений и споров. Нашлись умники, не побоявшиеся выставить самих себя в смешном виде, утверждая, будто все это происшествие сплошная выдумка. Но эти господа называют выдумкой все, что превосходит их понимание. Я, со своей стороны, решительно не вижу, на чем они основывают такое обвинение.

Вот их доказательства.

Во-первых: в городе Роттердаме есть такие-то шутники (имярек), которые имеют зуб против таких-то бургомистров и астрономов (имярек).

Во-вторых: некий уродливый карлик-фокусник с начисто отрезанными за какую-то проделку ушами недавно исчез из соседнего города Брюгге и не возвращался в течение нескольких дней.

В-третьих: газеты, которые всюду были наклеплены на шар, – это голландские газеты и, стало быть, выходили не на луне. Они были очень, очень грязные, и типограф Глюк готов поклясться, что не кто иной, как он сам, печатал их в Роттердаме.

В-четвертых: пьяницу Ганса Пфааля с тремя бездельниками, будто бы его кредиторами, видели два-три дня тому назад в кабаке, в предместье Роттердама: они были при деньгах и только что вернулись из поездки за море.

И наконец: согласно общепринятому (по крайней мере, ему бы следовало быть общепринятым) мнению, Астрономическое общество в городе Роттердаме, подобно всем другим обществам во всех других частях света, оставляя в стороне общества и астрономов вообще, ничуть не лучше, не выше, не умнее, чем ему следует быть.

* * *

Примечание. Строго говоря, наш беглый очерк представляет очень мало общего с знаменитым «Рассказом о Луне» мистера Локка, но, так как оба рассказа являются выдумкой (хотя один написан в шутливом, другой в сугубо серьезном тоне), оба трактуют об одном и том же

предмете, мало того – в обоих правдоподобие достигается с помощью чисто научных подробностей, – то автор «Ганса Пфааля» считает необходимым заметить в целях самозащиты, что его «*jeu d'esprit*»⁷ была напечатана в «Саутерн литерери мессенджер» за три недели до появления рассказа мистера Локка в «Нью-Йорк Сан». Тем не менее некоторые нью-йоркские газеты, усмотрев между обоими рассказами сходство, которого, быть может, на деле не существует, решили, что они принадлежат перу одного и того же автора.

Так как читателей, обманутых «Рассказом о Луне», гораздо больше, чем сознавшихся в своем легковерии, то мы считаем нелишним остановиться на этом рассказе, – то есть отметить те его особенности, которые должны бы были устранить возможность подобного легковерия, ибо выдают истинный характер этого произведения. В самом деле, несмотря на богатую фантазию и бесспорное остроумие автора, произведение его сильно хромает в смысле убедительности, ибо он недостаточно уделяет внимания фактам и аналогиям. Если публика могла хоть на минуту поверить ему, то это лишь доказывает ее глубокое невежество по части астрономии.

Расстояние луны от земли в круглых цифрах составляет 240 000 миль. Чтобы узнать, насколько сократится это расстояние благодаря телескопу, нужно разделить его на цифру, выражающую степень увеличительной силы последнего. Телескоп, фигурирующий в рассказе мистера Локка, увеличивает в 42 000 раз. Разделив на это число 240 000 (расстояние до Луны), получаем пять и пять седьмых мили. На таком расстоянии невозможно рассмотреть каких-либо животных, а тем более всякие мелочи, о которых упоминается в рассказе. У мистера Локка сэр Джон Гершель видит на луне цветы (из семейства маковых и др.), даже различает форму и цвет глаз маленьких птичек. А незадолго перед тем сам автор говорит, что в его телескоп нельзя разглядеть предметы менее восемнадцати дюймов в диаметре. Но и это преувеличение: для таких предметов требуется гораздо более сильный объектив. Заметим мимоходом, что гигантский телескоп мистера Локка изготовлен в мастерской гг. Гартлей и Грант в Домбартоне; но гг. Гартлей и Грант прекратили свою деятельность за много лет до появления этой сказки.

На странице 13 отдельного издания, упоминая о «волосняной вуали» на глазах буйвола, автор говорит: «Проницательный ум доктора Гершеля усмотрел в этой вуали созданную самим провидением защиту глаз животного от резких перемен света и мрака, которым периодически подвергаются все обитатели Луны, живущие на стороне, обращенной к нам». Однако подобное замечание отнюдь не свидетельствует о «проницательности» доктора. У обитателей, о которых идет речь, никогда не бывает темноты, следовательно, не подвергаются они и упомянутым резким световым переменам. В отсутствие солнца они получают свет от земли, равный по яркости свету четырнадцати лун.

Топография луны у мистера Локка, даже там, где он старается согласовать ее с картой луны Блента, расходится не только с нею и со всеми остальными картами, но и с собой. Относительно стран света у него царит жестокая путаница; автор, по-видимому, не знает, что на лунной карте они расположены иначе, чем на земле: восток приходится налево, и т. д.

Мистер Локк, быть может, сбивый с толку неясными названиями «*Mare Nubium*», «*Mare Tranquillitatis*», «*Mare Fecunditatis*»⁸, которыми прежние астрономы окрестили темные лунные пятна, очень обстоятельно описывает океаны и другие обширные водные бассейны на луне; между тем отсутствие подобных бассейнов доказано. Граница между светом и тенью на убывающем или растущем серпе, пересекая темные пятна, образует ломаную зубчатую линию; будь эти пятна морями, она, очевидно, была бы ровною.

⁷ Игра ума (*фр.*).

⁸ Облачное Море, Море Спокойствия, Море Изобилия (*лат.*).

Описание крыльев человека – летучей мыши на стр. 21 – буквально копия с описания крыльев летающих островитян Питера Уилкинса. Уже одно это обстоятельство должно было бы возбудить сомнение.

На странице 23 читаем: «Какое чудовищное влияние должен был оказывать наш земной шар, в тринадцать раз превосходящий размеры своего спутника, на природу последнего, когда, зарождаясь в недрах времени, оба были игрищем химических сил!» Это отлично сказано, конечно; но ни один астроном не сделал бы подобного замечания, особенно в научном журнале, так как земля не в тринадцать, а в сорок девять раз больше луны. То же можно сказать и о заключительных страницах, где ученый корреспондент распространяется насчет некоторых недавних открытий, сделанных в связи с Сатурном, и дает подробное ученическое описание этой планеты – и это для «Эдинбургского научного журнала»!

Есть одно обстоятельство, которое особенно выдает автора. Допустим, что изобретен телескоп, с помощью которого можно увидеть животных на луне, – что прежде всего бросится в глаза наблюдателю, находящемуся на земле? Без сомнения, не форма, не рост, не другие особенности, а странное положение лунных жителей. Ему покажется, что они ходят вверх ногами, как мухи на потолке. Невымышленный наблюдатель едва ли удержался бы от восклицания при виде столь странного положения живых существ (хотя бы и предвидел его заранее), наблюдатель вымышленный не только не отметил этого обстоятельства, но говорит о форме всего тела, хотя мог видеть только форму головы!

Заметим в заключение, что величина и особенно сила человека – летучей мыши (например, способность летать в разреженной атмосфере, если, впрочем, на луне есть какая-нибудь атмосфера) противоречат всякой вероятности. Вряд ли нужно прибавлять, что все соображения, приписываемые Брюстеру и Гершелю в начале статьи – «передача искусственного света о помощью предмета, находящегося в фокусе поля зрения», и проч. и проч., – относятся к разряду высказываний, именуемых в просторечии чепухой.

Существует предел для оптического изучения звезд – предел, о котором достаточно упомянуть, чтобы понять его значение. Если бы все зависело от силы оптических стекол, человеческая изобретательность, несомненно, справилась бы в конце концов с этой задачей, и у нас были бы чечевицы каких угодно размеров. К несчастью, по мере возрастания увеличительной силы стекол, вследствие рассеяния лучей уменьшается сила света, испускаемого объектом. Этой беде мы не в силах помочь, так как видим объект только благодаря исходящему от него свету – его собственному или отраженному. «Искусственный» свет, о котором толкует мистер Л., мог бы иметь значение лишь в том случае, если бы был направлен не на «объект, находящийся в поле зрения», а на действительный изучаемый объект – то есть на луну. Нетрудно вычислить, что если свет, исходящий от небесного тела, достигнет такой степени рассеяния, при которой окажется не сильнее естественного света всей массы звезд в ясную, безлунную ночь, то это тело станет недоступным для изучения.

Телескоп лорда Росса, недавно построенный в Англии, имеет зеркало с отражающей поверхностью в 4071 квадратный дюйм; телескоп Гершеля – только в 1811 дюймов. Труба телескопа лорда Росса имеет 6 футов в диаметре, толщина ее на краях – 5 и ½ в центре – 5 дюймов. Фокусное расстояние – 50 футов. Вес – 3 тонны.

Недавно мне случилось прочесть любопытную и довольно остроумную книжку, на титуле которой значится:

«L'Homme dans la lune, ou le Voyage Chimérique fait au Monde de la Lune, nouvellement decouvert par Dominique Gonzales, Advanturier Espagnol, autremet dit le Courier volant. Mis en notre langue par J.B.D.A. Paris, chez Francois Piot,

pres la Fontaine de Saint Benoist. Et chez J. Goignard, au premier pilier de la grand' salle du Palais, proche les Consultations, MDCXLVIII», p. 176.⁹

Автор говорит, что перевел книжку с английского подлинника некоего мистера д'Ависсона (Дэвидсон?), хотя выражается крайне неопределенно.

«J'en ai eu, – говорит он, – l'original de Monsieur d'Avisson, medecin des mieux versez qui soient aujourd'hui dans la conissance des Belles Lettres, et sur tout de la Philosophie Naturelle. Je lui ai cette obligation entre les autres, de m'auoir non seulement mis en main ce Livre en anglois, mais encore le Manuscrit du Sieur Thomas d'Anan, gentilhomme Eccossois, recommandable pour sa vertu, sur la version duquel j'advoue j'ai tiré le plan de la mienne»¹⁰.

После разнообразных приключений во вкусе Жиль Блаза, рассказ о которых занимает первые тридцать страниц, автор попадает на остров Святой Елены, где возмутившийся экипаж оставляет его вдвоем с служителем-негром. Ради успешнейшего добывания пищи они разошлись и поселились в разных концах острова. Потом им вздумалось общаться друг с другом с помощью птиц, дрессированных на манер почтовых голубей. Мало-помалу птицы выучились переносить тяжести, вес которых постепенно увеличивался. Наконец автору пришлось воспользоваться соединенными силами целой стаи птиц и подняться самому. Для этого он построил машину, которая подробно описана и изображена в книжке. На рисунке мы видим сеньора Гонзалеса, в кружевных брыжах и огромном парике, верхом на каком-то подобии метлы, уносимого стаей диких лебедей (ganzas), к хвостам которых привязана машина.

Главное приключение сеньора обусловлено очень важным фактом, о котором читатель узнает только в конце книги. Дело в том, что пернатые, которых он приручил, оказываются уроженцами не острова Святой Елены, а луны. С незапамятных времен они ежегодно прилетают на землю; но в надлежащее время, конечно, возвращаются обратно. Таким образом, автор, рассчитывавший на непродолжительное путешествие, поднимается прямо в небо и в самое короткое время достигает луны. Тут он находит среди прочих курьезов – население, которое вполне счастливо. Обитатели луны не знают законов; умирают без страданий; ростом они от десяти до тридцати футов; живут пять тысяч лет. У них есть император, по имени Ирдонозур; они могут подпрыгивать на высоту шестидесяти футов и, выйдя, таким образом, из сферы притяжения, летать с помощью особых крыльев.

Не могу не привести здесь образчик философствований автора:

«Теперь я расскажу вам, – говорит сеньор Гонзалес, – о природе тех мест, где я находился. Облака скопились под моими ногами, то есть между мною и землей. Что касается звезд, то они все время казались одинаковыми, так как здесь вовсе не было ночи; они не блестели, а слабо мерцали, точно на рассвете. Немногие из них были видимы и казались вдесятеро больше (приблизительно), чем когда смотришь на них с земли. Луна, которой недоставало двух дней до полнолуния, казалась громадной величины.

Не следует забывать, что я видел звезды только с той стороны земли, которая обращена к луне, и что чем ближе они были к ней, тем казались больше. Замечу также, что и в тихую погоду, и в бурю я всегда находился между землей и луной. Это подтверждалось двумя обстоятельствами: во-первых, лебеди поднимались все время по прямой линии; во-вторых, всякий

⁹ Человек на луне, или же Химерическое путешествие в Лунный мир, незадолго перед тем открытый Домиником Гонзалесом, испанским авантюристом, иначе именуемым Летучим Вестником. Переведено на наш язык Ж. Б. Д. А. Продается в Париже, у Франсуа Пио, возле фонтана Сен-Бенуа, и у Ж. Гуаньяра, возле первой колонны в большой дворцовой зале, близ Консультаций, MDCXLVIII, 176 стр. (Прим. автора.)

¹⁰ Оригинал я получил от господина д'Ависсона, врача, одного из наиболее сведущих в области изящной словесности, особливо же в натурфилософии. Среди прочего я обязан ему тем, что он не только дал мне сию аглицкую книгу, но также и рукопись господина Томаса д'Анана, шотландского дворянина, за свою доблесть достойного хвалы, из коей я, должен признаться, заимствовал и план собственного моего повествования. (Прим. автора.)

раз, когда они останавливались отдохнуть, мы все же двигались вокруг земного шара. Я разделяю мнение Коперника, согласно которому земля вращается с востока на запад не вокруг полюсов Равноденствия, называемых в просторечии полюсами мира, а вокруг полюсов зодиака. Об этом вопросе я намерен поговорить более подробно впоследствии, когда освежу в памяти сведения из астрологии, которую изучал в молодые годы, будучи в Саламанке, но с тех пор успел позабыть».

Несмотря на грубые ошибки, книжка заслуживает внимания как простодушный образчик наивных астрономических понятий того времени. Между прочим, автор полагает, что «притягательная сила» земли действует лишь на незначительное расстояние от ее поверхности, и вот почему он «все же двигался вокруг земного шара» и т. д.

Есть и другие «путешествия на луну», но их уровень не выше этой книжки. Книга Бержерака не заслуживает внимания. В третьем томе «Америкен куотерли ревью» помещен обстоятельный критический разбор одного из таких «путешествий», – разбор, свидетельствующий столько же о нелепости книжки, сколько и о глубоком невежестве критика. Я не помню заглавия, но способ путешествия еще глупее, чем полет нашего приятеля сеньора Гонзалеса. Путешественник случайно находит в земле неведомый металл, притяжение которого к луне сильнее, чем к земле, делает из него ящик и улетает на луну. «Бегство Томаса О’Рука» – не лишенный остроумия *jeu d’esprit*; книжка эта переведена на немецкий язык. Герой рассказа Томас, – лесничий одного ирландского пэра, эксцентричные выходки которого послужили поводом для рассказа, – улетает на спине орла с Хангри Хилл, высокой горы, расположенной в конце Бантри Бей.

Все упомянутые брошюры преследуют сатирическую цель; тема – сравнение наших обычаев с обычаями жителей луны. Ни в одной из них не сделано попытки придать с помощью научных подробностей правдоподобный характер самому путешествию. Авторы делают вид, что они люди вполне осведомленные в области астрономии. Своеобразие «Ганса Пфааля» заключается в попытке достигнуть этого правдоподобия, пользуясь научными принципами в той мере, в какой это допускает фантастический характер самой темы.

Повесть о приключениях Артура Гордона Пима

в которой подробно описываются возмущение и жестокая резня на американском бриге «Грампус» в плавании к южным морям; вторичный захват корабля уцелевшими от резни; крушение и ужасные муки голода, постигшие экипаж; спасение его британской шхуной «Джэн Гай»; плавание этого судна в Антарктический океан; его плен и истребление экипажа на островах под 84° южной широты, а равно и невероятные приключения и открытия в дальнейшем плавании к югу, вызванные этим бедственным событием.

Предварительные замечания

Возвратившись в Соединенные Штаты несколько месяцев тому назад после ряда необычайных приключений в Южном океане, изложенных на нижеследующих страницах, я познакомился в Ричмонде с кружком джентльменов, которые крайне заинтересовались всем, что я видел в посещенных мною странах, и настойчиво убеждали меня познакомить публику с моим путешествием. Однако разные причины удерживали меня от этого – причины частью личного свойства, касающиеся меня одного, частью иного рода. Между прочим, останавливало меня следующее соображение: я не вел журнала в течение большей части путешествия и боялся, что не сумею составить по памяти отчет настолько подробный и связный, что он не только будет, но и покажется истинным, не считая, конечно, тех неизбежных и естественных преувеличений, от которых никто не уберется, излагая ряд событий, оказавших сильнейшее влияние на воображение рассказчика. Другое соображение было такого рода: мои приключения имеют до того чудесный характер, что, не подтвержденные свидетельскими показаниями (остался в живых только один свидетель, да и тот наполовину индеец), найдут доверие разве в моей семье и среди близких друзей, которым известна моя правдивость; публика же, по всей вероятности, сочтет мой рассказ только островной и бессовестной выдумкой. Но главной причиной, заставлявшей меня отклонять предложение приятелей, было недоверие к моим авторским способностям.

В числе джентльменов, заинтересовавшихся моим рассказом, в особенности той частью его, которая относится к Антарктическому океану, был мистер По, редактор «Южного литературного вестника», ежемесячного журнала, издаваемого мистером Томасом В. Уайтом в городе Ричмонде. Он настойчиво убеждал меня составить полный отчет обо всем мною виденном и испытанном, причем возлагал большие надежды на проницательность и здравый смысл публики, уверяя, что сами недостатки (в литературном отношении) моего рассказа придадут ему характер правдивости.

Несмотря на эти доводы, я все не мог решиться. Наконец видя, что со мной ничего не поделаешь, мистер По предложил следующую комбинацию: он сам составит отчет о первой части моих приключений на основании моего рассказа и напечатает его в «Южном вестнике» под видом вымысла. На это я не имел ничего возразить, оговорив только, чтобы мое настоящее имя было сохранено. Таким образом в январской и февральской книжках «Вестника» (1837) явились две главы этого якобы вымышленного рассказа, подписанного именем мистера По, чтобы усилить характер вымысла.

Прием, оказанный этой мистификации со стороны публики, побудил меня составить и напечатать подробное описание всех моих приключений. В самом деле, несмотря на сказочный характер, так искусно приданный первой части отчета, напечатанной в «Вестнике» (причем ни один факт не был искажен или изменен), публика отнюдь не оказалась склонной принимать его за сказку, и мистер По получил несколько писем, выражавших совершенно противоположное мнение. Отсюда я заключил, что факты, изложенные в рассказе, сами по себе представляются вероятными и что, следовательно, мне нечего бояться недоверия публики.

В заключение этого *expose*¹¹ замечу, что читатель сам увидит, где кончается труд мистера По и начинается мой рассказ. Прибавлю, что и в первых страницах, принадлежащих перу мистера По, нет ни одного вымышленного факта. Указывать же, где начинается мой рассказ, излишне: даже не читавшие «Вестника» увидят это по разнице в стиле.

А. Г. Пим.

Нью-Йорк, июль 1838 г.

¹¹ Отчет (*фр.*).

Глава I

Мое имя Артур Гордон Пим. Отец мой был почтенный торговец морским товаром в Нантукете, где я родился. Мой дед по матери был стряпчий с хорошей практикой. Он успешно вел свои дела и счастливо спекулировал с акциями Эдгартонского нового банка. Эти и другие аферы доставили ему порядочный капитал. Ко мне он был привязан, кажется, больше, чем к кому бы то ни было, так что я мог надеяться получить в наследство большую часть его состояния. Когда мне исполнилось шесть лет, он отправил меня в школу старика Рикхетса, одиозного джентльмена, большого чудака – его знают все, кому случалось бывать в Нью-Бедфорде. В его школе я оставался до шестнадцати лет, а затем перешел в школу мистера Э. Рональда. Тут я подружился с сыном мистера Барнарда, капитана корабля, совершавшего рейсы по делам торгового дома Ллойда и Вреденбурга. Мистер Барнард также хорошо известен в Нью-Бедфорде; знаю, что у него есть родственники в Эдгартоне. Его сын Август был двумя годами старше меня. Он плавал с отцом на китобое «Джон Дональдсон» и постоянно рассказывал мне о своих приключениях в южной части Тихого океана. Я часто бывал у него, иногда оставался на целый день и даже на ночь. Мы спали в одной постели, и я не смыкал глаз до рассвета, когда, бывало, он начнет рассказывать о дикарях острова Тиниана и других мест, где побывал во время плаванья. В конце концов я только и думал что о его рассказах, мало-помалу меня обуяла страсть к мореплаванию. Я приобрел за семьдесят пять долларов парусную лодку, называвшуюся «Ариэль». Она была с палубой и каюткой, оснащена как одномачтовое судно, вместимость ее я не помню, но на ней легко могло поместиться десять человек. В этой лодке мы предпринимали самые отчаянные вылазки, и, вспоминая о них, я только удивляюсь, каким чудом я остался жив.

Расскажу об одной такой вылазке в качестве предисловия к длинному и занимательному сообщению. Однажды вечером у мистера Барнарда собрались гости, и мы с Августом хватили по этому случаю лишнего. Как всегда в таких случаях я остался ночевать у него. Ложась спать (гости разошлись около часа ночи), он был, по-видимому, очень спокоен и ни единым словом не заикнулся о своей любимой теме. Прошло с полчаса, я уже стал забываться сном, как вдруг он вскочил и со страшным ругательством поклялся, что никакие Артуры Гордоны в мире не заставят его спать при таком чудесном юго-западном ветре. Я изумился как никогда в жизни, не понимая, о чем он толкует, и подумал, что он просто не помнит себя от вина и водки. Но он очень спокойно заметил, что напрасно я принимаю его за пьяного, что, напротив, никогда в жизни он не был трезвее. Ему только надоело валяться, как собаке, на постели в такую прекрасную ночь, и потому он намерен встать, одеться и покататься на лодке. Не понимаю, что со мной сделалось, но, услышав эти слова, я так и вздрогнул от радости: его безумная выдумка показалась мне самой разумной и счастливой мыслью. Дул почти ураган, погода стояла холодная: дело было в конце октября. Тем не менее я вскочил с постели, как ужаленный, в каком-то экстазе, и объявил, что я не трусливее его, что мне тоже надоело валяться, как собаке, на постели, и что я также готов на какие угодно выходки и проделки, как любой Август Барнард в Нантукете.

Мы живо оделись и поспешили к лодке. Она стояла у старой ветхой пристани, близ верфи «Панки и К°», стучаясь о тяжелые бревна. Август вскочил в нее и принялся вычерпывать воду, которая наполняла лодку почти до половины. Покончив с этим, мы подняли кливер и грот и смело пустились в море.

Как я уже упомянул, дул сильный ветер с юго-запада. Ночь была ясная и холодная. Август поместился у руля, а я на палубе подле мачты. Мы неслись стремглав и еще не обменялись ни единым словом с тех пор, как оставили верфь. Наконец я спросил своего товарища, куда он думает направиться и когда мы вернемся. Он посвистал и ответил сварливым тоном:

– Я направлюсь в открытое море, а ты можешь, если угодно, вернуться домой.

Взглянув на него, я тотчас убедился, что, несмотря на кажущееся безразличие, он находился в сильнейшем возбуждении. Я ясно видел при свете луны, что лицо его бледнее мрамора и руки дрожат до того, что руль почти не слушается их. Я понял, что дело неладно, и не на шутку встревожился. В то время я еще плохо управлял лодкой и всецело зависел от искусства моего товарища. Ветер как назло усилился, а мы уже вышли почти в открытое море; но я все-таки не хотел выказать трусость и с полчаса еще хранил молчание. Наконец, однако, не выдержал и сказал Августу, что пора бы нам вернуться домой. Как и раньше, он не сразу ответил.

– Поспеем, – пробормотал он наконец, – время есть... домой поспеем.

Я ожидал подобного ответа, но в тоне его слов было что-то особенное, отчего мороз пробежал у меня по телу. Я пристально посмотрел на Августа. Губы его посинели, колени дрожали так, что он вряд ли мог стоять.

– Ради бога, Август, – воскликнул я, не на шутку перепуганный, – что с тобой? В чем дело? Что ты?

– Дело! – пробормотал он с изумлением, выпуская руль и падая на дно лодки. – Дело? Ничего – ладно – сам видишь... едем д... д... домой!

Тут мне разом все стало ясно. Я кинулся к нему, приподнял его. Он был пьян, пьян в стельку – не мог ни стоять, ни говорить, ни видеть. Глаза его были совсем стеклянные; и когда я в отчаянии выпустил его, он покатился, как чурбан в воду, на дно лодки. Очевидно, он выпил вечером гораздо больше, чем я думал, и его поведение в постели было результатом той степени опьянения, когда, как при некоторых формах помешательства, человек внешне вроде бы владеет собой и действует сознательно. Холодный ночной воздух произвел свое обычное действие – нервное возбуждение улеглось и смутное сознание опасности, без сомнения, ускорило катастрофу. Теперь он лежал без чувств и, по всей вероятности, должен был пролежать так несколько часов.

Вряд ли можно себе представить мой ужас. Винные пары окончательно улетучились, но тем сильнее было мое смятение и испуг. Я знал, что мне не справиться с лодкой и что бурный ветер и отлив влекут нас к гибели. Надвигалась буря; у нас не было ни компаса, ни провизии, и если не изменить курс, мы должны будем к утру потерять из виду землю. Эти мысли и рой других, не менее страшных, с быстротой молнии проносились в моей голове и в первые минуты совершенно парализовали меня. Лодка бешено мчалась, рассекая волны, с раздутыми парусами, зарываясь носом в пену. Решительно не понимаю, как она не перевернулась: Август, как я уже сказал, бросил руль, а я был в таком волнении, что не думал за него взяться. К счастью, лодка устояла, а я понемногу овладел собой. Ветер, однако, крепчал с каждой минутой; и всякий раз, как мы рассекали носом волну, она обрушивалась на корму и заливала нас целым потоком. Я до такой степени окоченел, что почти потерял способность чувствовать. Наконец во мне проснулась решимость отчаяния, и, бросившись к мачте, я отпустил парус. Как и следовало ожидать, он вылетел за борт и, намокнув в воде, сломал и утащил за собой мачту. Это обстоятельство спасло нас от неминуемой гибели. С одним кливером я лавировал кое-как против ветра, подвертываясь иногда под вал, но, по крайней мере, избавившись от страха немедленной смерти. Я взялся за руль и стал дышать свободнее, видя, что еще остается надежда на спасение. Август по-прежнему лежал на дне; видя, что ему угрожает опасность захлебнуться, так как вода стояла почти на целый фут, я кое-как приподнял его и, обвязав веревкой вокруг талии, прикрепил другой конец к рым-болту на палубе.

Сделав все необходимое, как умел и насколько позволяло мне мое волнение и окоченевшие руки, я поручил свою участь Богу и решил перенести все, что случится, с твердостью, на какую только был способен.

Внезапно громкий протяжный вопль, точно вырвавшийся из глоток тысячи демонов, наполнил пространство. В жизни не забуду смертельного ужаса, который охватил меня в эту

минуту. Волосы мои встали дыбом, кровь застыла в жилах, сердце замерло, и, не успев оглянуться и определить причину этого шума, я повалился без чувств на тело моего товарища.

Очнувшись, я оказался в каюте большого китобойного судна «Пингвин», шедшего в Нантукет.

Несколько человек стояли надо мной; Август, бледный как смерть, растирал мне руки. Увидев, что я открыл глаза, он разразился бурными восклицаниями восторга и благодарности, вызвавшими смех и слезы среди окружающих меня с виду грубых людей. Вскоре я узнал обстоятельства нашего спасения. На нас налетел корабль, шедший в Нантукет под всеми парусами, какие только можно было распустить при такой погоде. Матросы заметили нашу лодку, но слишком поздно; их-то крик и испугал меня так страшно. Огромный корабль прошел над нами так же легко, как наша лодка прошла бы над перышком. Ни единого крика не раздалось с лодки; послышался только легкий скрип, сливавшийся с ревом ветра и волн, когда наше легкое суденышко нырнуло в воду и прошло под килем своего губителя, больше ничего. Думая, что наша лодка (на которой не видно было мачты) случайно оторвалась от пристани, капитан (Е. Т. Блок из Нью-Лондона) хотел продолжать путь, не придав значения этому случаю. К счастью, двое матросов божились, что заметили в лодке человека, и доказывали, что его еще можно спасти. Возникли препирательства. Блок рассердился и заметил, что «ему нет дела до яичной скорлупы, что корабль он не будет останавливать ради всякого вздора, что коли человек тонет, так, значит, он сам того хотел; и, черт его дери, пусть себе тонет». Но тут вмешался его помощник Гендерсон, справедливо возмущенный, как и весь экипаж, таким бессердечием. Чувствуя за собой поддержку, он решительно объявил капитану, что тот заслуживает виселицы и что он не послушается, хотя бы его повесили на берегу. Высказав это, он прошел на корму, толкнув Блока (который побледнел и молча отвернулся), и, схватив руль, скомандовал твердым голосом: «Становись под ветер!» Люди бросились по местам, и корабль круто повернул. Все это длилось минут пять, так что почти не оставалось надежды на спасение людей, бывших в лодке, если предположить, что в ней были люди. Тем не менее, как уже известно читателю, и я, и Август были спасены благодаря двум счастливым случайностям, почти непостижимым, какие приписываются благочестивыми и мудрыми людьми вмешательству Провидения. Пока корабль поворачивался, Гендерсон велел спустить лодку и соскочил в нее с двумя матросами, видевшими в лодке людей. Лишь только они отчалили от корабля с подветренной стороны, корабль сильно накренился к ветру, и Гендерсон, вскочив, крикнул своим матросам: «Гребите назад!» Он ничего не прибавил к этому и только кричал: «Гребите назад! Гребите назад!» Матросы изо всех сил налегли на весла, но в это время корабль повернулся и быстро двинулся вперед, хотя экипаж торопился убрать паруса. Помощник, несмотря на всю опасность этой попытки, ухватился за вант-путенсы на борту судна. Корабль снова качнуло так, что правая сторона обнаружилась почти до киля, – тут выяснилась причина криков Гендерсона. На гладком и блестящем дне корабля (он был обшит медью) виднелась человеческая фигура, повисшая самым странным образом и бившаяся о корпус корабля при каждом его движении. После нескольких неудачных попыток в те минуты, когда корабль накренился, и с риском потопить лодку, я был освобожден из своего опасного положения и поднят на корабль. Оказалось, что гвоздь, выдававшийся из корпуса корабля, зацепил меня в то время, когда мое тело проходило под килем. Шляпка гвоздя прорвала воротник моей зеленой байковой куртки и зацепила меня за шею, пройдя между двумя сухожилиями, как раз под правым ухом. Меня тотчас уложили в постель, хотя я не подавал ни малейших признаков жизни. На корабле не было медика. Капитан, однако, отнесся ко мне очень внимательно, вероятно, желая загладить в глазах экипажа свое жестокое поведение.

Тем временем Гендерсон снова отчалил от корабля, хотя ветер превратился в настоящий ураган. Вскоре он увидел обломки лодки, а одному из матросов послышался крик о помощи среди завываний бури. Это побудило смелых моряков продолжать свои поиски в течение полу-

часа, хотя капитан Блок несколько раз давал им сигнал вернуться, а хрупкое суденышко ежеминутно подвергалось страшной опасности. В самом деле, трудно понять, как могла уцелеть такая маленькая лодочка. Впрочем, она предназначалась для охоты на китов и, как я узнал потом, была устроена наподобие спасательных лодок в Уэльсе, то есть имела отделения, наполненные воздухом.

Видя, что поиски остаются тщетными, моряки решили вернуться. Но в эту самую минуту послышался слабый крик, и мимо них мелькнула какая-то черная масса; они погнались за ней и поймали ее. Это была палуба «Ариэля». Август бился подле нее, по-видимому, в смертельных муках. Схватив его, они убедились, что он привязан к палубе веревкой. Если припомнит читатель, это я привязал его к рым-болту, чтобы поддержать в сидячем положении, – в результате моя выдумка спасла ему жизнь. «Ариэль» был сколочен кое-как и, попав под корабль, разбился на куски; палуба оторвалась от остова лодки и всплыла (как и остальные обломки, без сомнения) на поверхность. Август всплыл вместе с ней и таким образом ускользнул от гибели.

Спустя более часа после того, как его подняли на корабль, Август пришел наконец в себя и понял, что случилось с лодкой. Он помнил, что пришел в себя под водой, где вертелся с поразительной быстротой, чувствуя, что какая-то веревка обматывается вокруг его шеи. Минуту спустя он понял, что быстро поднимается вверх, но тут голова его стукнулась обо что-то жесткое, и он снова потерял сознание. Затем опять очнулся, и тут уже мысли его несколько прояснились, хотя все еще оставались смутными и туманными. Он понимал теперь, что случилось какое-то несчастье и что он находится в воде, хотя рот его оказался на поверхности и он мог дышать довольно свободно. Вероятно, в эту минуту палуба неслась по ветру, увлекая его за собой, причем он лежал на спине. В этом положении он, конечно, не мог утонуть. Но вот волна бросила его на палубу, за которую он и уцепился с криком о помощи. За минуту перед тем как мистер Гендерсон увидел его, он выпустил палубу и скатился в море, считая себя погибшим. Все это время он ни разу не вспомнил ни об «Ариэле», ни об обстоятельствах, приведших к этому несчастью. Смутное чувство ужаса и отчаяния всецело овладело его душой. Когда наконец он был вытащен из воды, сознание снова оставило его, и только через час он опомнился. Что касается меня, то я был возвращен к жизни из состояния, граничившего со смертью (и то лишь через три с половиной часа после того, как все средства были перепробованы) посредством сильного растирания фланелью с горячим маслом: средство, рекомендованное Августом. Рана на моей шее, хотя и ужасная с виду, оказалась неопасной и скоро зажила.

«Пингвин» вошел в гавань около девяти часов утра, выдержав сильнейший шквал, какой когда-либо случался близ Нантукета. Мы с Августом явились в дом мистера Барнарда как раз к завтраку, который, к счастью для нас, запоздал благодаря вчерашней попойке. Кажется, присутствовавшие были слишком утомлены, чтобы обратить внимание на наш изможденный вид, который бросился бы в глаза при мало-мальски внимательном наблюдении. Впрочем, школьники – истинные виртуозы по части обмана, и вряд ли кому-нибудь из наших нантукетских друзей пришло в голову, что ужасная история, о которой рассказывали в городе матросы, потопившие будто бы целый корабль с экипажем человек в тридцать-сорок, имела какое-либо отношение к «Ариэлю», ко мне или к моему спутнику. Мы же часто говорили об этом происшествии, но не могли вспоминать о нем без ужаса. Август откровенно сознался, что никогда в жизни не испытывал такого адского чувства, какое испытал в нашей маленькой лодочке в ту минуту, когда понял степень своего опьянения и убедился, что не справится с ним.

Глава II

Можно было бы думать, что катастрофа, о которой я только что рассказал, охладит мою едва зародившуюся страсть к морю. Напротив, никогда еще я не испытывал такой жажды к приключениям, которыми полна жизнь моряка, как спустя неделю после нашего чудесного избавления. Этот короткий период времени оказался совершенно достаточным, чтобы изгладить из моей памяти мрачные и осветить самым ярким светом увлекательные и живописные стороны нашего опасного предприятия. Наши беседы с Августом каждый день становились оживленнее и интереснее. Его рассказы о морских приключениях (теперь я подозреваю, что добрая половина их была чистым враньем) действовали возбуждающим образом на мой восторженный темперамент и мое мрачное, но пылкое воображение. Как это ни странно, но именно картины ужасных страданий и отчаяния всего сильнее разжигали мою страсть. Светлая сторона жизни моряка не особенно трогала меня. Я только и бредил кораблекрушениями и голодом, смертью или пленом у варварских племен, жизнью, полной горя и слез на какой-нибудь пустынной скале, затерянной в безбрежном, неведомом океане. Подобные грезы или желания свойственны, как я убедился впоследствии, всем вообще меланхоликам; но в то время я принимал их за пророческие указания судьбы, которые мне надлежит выполнить. Август вполне разделял мой образ мыслей. По всей вероятности, наша тесная дружба до известной степени сроднила наши характеры.

Спустя полтора года после катастрофы с «Ариэлем» фирма «Ллойд и Вреденбург» (кажется, находившаяся в связи с домом Эндерби в Ливерпуле) занялась починкой и снаряжением брига «Грампуса» для ловли китов. Это была старая ветхая посудина, почти негодная для плавания даже после починки. Не знаю, почему именно это судно выбрали вместо хороших, новых судов, принадлежащих тем же владельцам. Мистер Барнард был назначен капитаном, Август отправлялся вместе с ним. Пока шла починка, он не раз уговаривал меня воспользоваться этим прекрасным случаем удовлетворить мою страсть к путешествиям. Я-то был не прочь, но устроить это дело оказалось нелегко. Отец мой не высказывался решительно против путешествия; но с матерью начиналась истерика всякий раз, как речь заходила об этом плане; а главное, дедушка, от которого я ждал таких великих и богатых милостей, поклялся, что не оставит мне ни гроша, если я только заикнусь еще раз о своем намерении. Впрочем, эти затруднения не могли поколебать мое решение, напротив – только подливали масла в огонь. Я решил отправиться во что бы то ни стало и, сообщив об этом Августу, обсудил вместе с ним способ осуществления моих желаний. В то же время я перестал говорить с родными о путешествии и так усердно предавался обычным занятиям, словно и думать забыл о своем плане. Впоследствии я не раз с неудовольствием и удивлением вспоминал о моем тогдашнем поведении. Только жгучее, неутолимое желание осуществить наконец давно лелеянную мечту могло побудить меня на такое глубокое лицемерие, – лицемерие, пронизывавшее все мои слова и действия в течение столь долгого времени.

Вознамерившись обмануть родных, я, понятное дело, должен был предоставить многое Августу, который постоянно бывал на «Грампусе», устраивая каюту для отца и трюм. По вечерам мы сходились и толковали о своих надеждах. Так прошло около месяца, а мы еще не придумали никакого путного плана. Наконец он объявил мне, что нашел способ уладить дело. У меня был родственник в Нью-Бедфорде, некий мистер Росс, в доме которого я гостил иногда по две, по три недели. Бриг должен был отплыть в половине июня (1827), и вот мы решили, что за день или за два до отплытия мой отец получит записку от мистера Росса с приглашением мне приехать недели на две к Роберту и Эммету – его сыновьям. Август взялся написать и доставить эту записку. Затем вместо того, чтобы ехать в Нью-Бедфорд, я отправлюсь к моему товарищу, который спрячет меня на «Грампусе». Он обещал снабдить мое убежище всем необ-

ходимым для того, чтобы с удобством провести в нем несколько дней, в течение которых мне нельзя будет показаться на палубе. Когда бриг отойдет от берега настолько, что уже нельзя будет вернуться, я водворюсь в каюте; что касается отца Августа, – говорил мой приятель, – то он только посмеется этой шутке. Затем с каким-нибудь встречным кораблем можно будет послать письмо моим родителям с объяснением всего случившегося.

Наконец наступила середина июня; все было приготовлено, записка написана, доставлена по адресу, и однажды утром в понедельник я вышел из дома, направляясь якобы на нью-бедфордский пакетбот. Август подждал меня на углу улицы. Решено было, что я спрячусь где-нибудь до вечера и только с наступлением темноты проскользну на бриг. Но мы решили, что это можно сделать сейчас же, так как нам благоприятствовал густой туман. Август пошел на пристань, а я следовал за ним на некотором расстоянии, завернувшись в толстый матросский плащ, который он захватил для меня. Только что мы свернули за угол за колодцем мистера Эдмунда, как передо мной очутился, глядя на меня во все глаза, – кто бы вы думали? – сам старый мистер Петерсон, мой дедушка!

– Господи боже мой, Гордон! – сказал он после некоторой паузы. – Что это? Что это такое? С какой стати ты нарядился в эту грязную хламиду?

– Сэр, – отвечал я, принимая вид негодующего изумления и стараясь говорить самым грубым голосом, – вы жестоко ошибаетесь, во-первых, мое имя вовсе не Гордон, а во-вторых, как ты смеешь, старый бродяга, называть мое новое пальто грязной хламидой?

Не могу вспомнить без смеха, какое курьезное действие произвела эта милая реплика на старого джентльмена. Он отступил шага на два или на три, побледнел, потом побагровел, сдернул с носа очки, опять надел их и кинулся на меня, замахнувшись зонтиком. Но тут же опомнился, повернулся и поплелся по улице, трясаясь от злобы и бормоча себе под нос:

– Никуда не годятся... Новые очки... Думал, Гордон... Проклятый морской волк.

Счастливо избежав опасности, мы продолжали путь с большой осторожностью и благополучно добрались до места назначения. На корабле оказалось всего несколько матросов, да и те были заняты на баке. Капитан Барнард, как нам было известно, находился в конторе «Ллойд и Вреденбург», где должен был остаться до позднего вечера, так что с этой стороны нам не угрожала никакая опасность. Август первый поднялся на палубу, а за ним последовал и я, незамеченный матросами. Мы тотчас же спустились в каюту, которая оказалась пустой. Помещения на бриге были устроены очень комфортабельно, даже роскошно для китобойного судна. Тут были четыре офицерских каюты с широкими и удобными кроватями. Я заметил также прекрасный камин; полы в капитанской и офицерских каютах были устланы толстыми дорожками коврами. Высота кают была не менее семи футов. Словом, все оказалось гораздо удобнее и лучше, чем я ожидал. Август, впрочем, не позволил мне долго прохлаждаться, заметив, что нужно спрятаться как можно скорей. Он провел меня в свою каюту на левой стороне брига. Войдя, он запер за собою дверь на ключ. Мне казалось, что я никогда еще не видал такой чудесной комнатки. Она имела десять футов в длину. В ней находилась только одна кровать – большая и удобная, как те, что я видел раньше; стол, стул и висячая полка с книгами, преимущественно по морской части. Кроме того, было много других мелочей, между прочим, и шкаф или погребец с разными разностями по съестной и питейной части.

Август надавил пальцами одно место на ковре, под которым кусок пола был вырезан, а затем вложен обратно. Когда Август нажал этот квадрат, он приподнялся так, что можно было засунуть палец между ним и полом. Таким образом можно было поднять трап (ковер был прибит к нему гвоздиками) и спуститься в трюм. Август зажег спичкой маленькую восковую свечку, вставил ее в потайной фонарь и спустился в трап, сказав мне, чтобы я следовал за ним. Я повиновался, и он закрыл за нами крышку при помощи гвоздя, вбитого с нижней стороны; ковер, разумеется, занял свое прежнее положение на полу и таким образом всякие следы отверстия исчезли.

Фонарик бросал такой слабый свет, что я с трудом пробирался среди всевозможного хлама. Мало-помалу, однако, глаза мои освоились с окружающим полумраком, и я пошел смелее, держась за моего товарища. Наконец, после продолжительной ходьбы по лабиринту бесчисленных узких проходов он привел меня к окованному железом ящику вроде тех, которые употребляются иногда для упаковки дорогого фаянса. Он был в четыре фута высотой, в шесть длиной, но очень узок. На нем стояли два больших пустых бочонка из-под масла, а сверху лежали циновки, нагроможденные до самого потолка. Кругом были навалены всевозможные вещи, корабельные припасы, корзины, коробы, бочки, тюки, так что я решительно не понимал, как мы ухитрились добраться до ящика. Впоследствии я узнал, что Август нарочно нагружал этот трюм, желая устроить для меня надежное убежище, и в этом помогал ему только один человек, который должен был остаться на берегу.

Мой друг указал мне, что стенка на одном конце ящика вынималась. Он вынул ее, и я с большим удовольствием увидел свое убежище. Дно ящика было прикрыто матрацем, взятым с одной из кроватей в каюте, кроме того, тут были различные запасы, какие только оказалось возможным поместить в таком маленьком пространстве, где я все-таки мог сидеть или вытянуться во всю длину. В числе прочих вещей тут было несколько книг, перо, чернила, бумага, три одеяла, большая кружка воды, бочонок морских сухарей, три или четыре больших болонских колбасы, огромный окорок, кусок холодной баранины и полдюжины бутылок с вином. Я немедленно расположился в своей маленькой квартирке и уж конечно с большим удовольствием, чем любой монарх располагался когда-нибудь в новом дворце. Август объяснил мне, как пользоваться задвигающейся стенкой ящика, и, подняв к потолку фонарик, показал протянутую под потолком черную веревку. Эта веревка проходила от моего убежища по всем проходам к гвоздю в люке. Посредством этой веревки я мог добраться до люка без всякой помощи с его стороны, если б какой-нибудь непредвиденный случай помешал ему вывести меня. Затем он ушел, оставив мне фонарь с порядочным запасом свечей и спичек и обещал приходить ко мне, как только представится возможным сделать это незаметно. Это происходило 17 июня. Я оставался в своей конурке три дня и три ночи (по приблизительному расчету) почти безвыходно, – вылез только раза два, чтобы немножко поразмять члены. В течение этого периода я ни разу не видел Августа, но не особенно беспокоился по этому поводу, зная, что бриг может с минуты на минуту сняться с якоря и что в суматохе отъезда моему другу трудно найти удобный случай пробраться ко мне. Наконец я услышал, как люк отворился и снова захлопнулся, и Август вполголоса спросил меня, как я себя чувствую и не нужно ли мне чего-нибудь.

– Ничего не нужно, – отвечал я, – мне отлично: скоро ли бриг снимется с якоря?

– Через полчаса, не больше, – отвечал он. – Я зашел известить тебя об этом и предупредить, чтобы ты не тревожился моим отсутствием. Мне нельзя будет навещать тебя... может быть, дня три или четыре. Наверху все в порядке. Когда я уйду и закрою люк, проберись к нему по веревке, ты найдешь мои часы на гвозде. Они пригодятся тебе – ведь ты не можешь следить за временем. Я уверен, что ты не знаешь, сколько времени провел в этой норе – всего три дня – сегодня у нас двадцатое. Я бы сам принес тебе часы, да боюсь, меня того и гляди хватятся.

С этими словами он ушел. Час спустя я заметил, что бриг движется, и поздравил себя с началом путешествия. Довольный этим, я решил выждать спокойно, пока естественный ход событий не позволит мне променять этот ящик на более просторное, хотя вряд ли более удобное помещение в каюте. Прежде всего я позаботился достать часы. Зажегши свечку, я пробрался с помощью веревки по бесчисленным извилинам, причем несколько раз убеждался, что, пройдя изрядное пространство, оказывался шага на два, на три позади того места, где был раньше. Наконец я добрался до гвоздя, взял часы и благополучно вернулся на прежнее место. Затем я рассмотрел книги, так предупредительно оставленные мне Августом, и выбрал путешествие Льюиса и Кларка к устью Колумбии. Я читал несколько времени, но вскоре стал дремать и, погасив свечку, заснул спокойным сном.

Проснувшись, я не сразу опомнился и сообразил, где нахожусь. Мало-помалу, однако, я вспомнил все, зажег свечку и посмотрел на часы, но они остановились, и я не мог определить, сколько времени длился мой сон. Мои члены совсем онемели, так что пришлось вылезти из ящика и поразмяться. Почувствовав внезапно волчий аппетит, я вспомнил о баранине, которую уже пробовал раньше и нашел превосходной. Каково же было мое удивление, когда я убедился, что она совершенно протухла. Это обстоятельство не на шутку встревожило меня, так как, сопоставляя его с расстройством мыслей в первые минуты пробуждения, я начинал думать, что проспал очень долго. Может быть, это зависело отчасти от удушливой атмосферы трюма, которая в конце концов могла привести к самым печальным последствиям. Голова моя жестоко болела; дышал я с трудом, и меня осаждали самые мрачные мысли. Тем не менее я не решился поднять тревогу, ограничился тем, что завел часы, и покорился судьбе.

В течение следующих томительных суток никто не явился ко мне на помощь, и я не мог не обвинять Августа в грубой небрежности. Больше всего тревожил меня недостаток воды: в кружке оставалось не более полупинты, а меня томила жестокая жажда, так как приходилось питаться колбасой. Я чувствовал себя очень скверно и решительно не мог читать. Меня клонило ко сну, но я боялся заснуть, думая, нет ли в спертom воздухе трюма какого-нибудь ядовитого начала вроде угара. Между тем качка корабля показывала мне, что мы уже находимся в открытом море, а глухой гул свидетельствовал о сильном ветре. Я не мог объяснить себе отсутствие Августа. Без сомнения, мы отплыли уже так далеко, что я мог бы выйти. Очевидно, что-нибудь случилось с ним, но я не мог себе представить никакой причины, которая заставила бы его так долго держать меня в заключении. Разве только он скоропостижно скончался или упал за борт. Но ум отказывался верить этому. Может быть, противный ветер задерживал нас поблизости от Нантукета. Но и это предположение не выдерживало критики, потому что в таком случае бриг накренился бы в разные стороны, между тем он все время шел, наклонившись вправо, следовательно, под ветром слева кормы. Притом, если даже мы находились поблизости от нашего острова, почему Август не зашел уведомить меня об этом? Раздумывая таким образом о своем одиноком и безутешном положении, я решил подождать еще сутки, а затем, если помощи не будет, пробраться к люку и либо вступить в переговоры, либо, по крайней мере, подышать свежим воздухом и раздобыть воды в каюте. Обдумывая это решение, я несмотря на все старание не спать погрузился в глубокий сон или, скорее, оцепенение. Я видел самые ужасные сны. Всевозможные бедствия и ужасы обрушивались на меня. Между прочим, мне чудилось, будто меня душат огромными подушками какие-то безобразные и свирепые демоны. Чудовищные змеи обвивались вокруг меня и пристально смотрели мне в лицо своими зловещими сверкающими глазами. Безграничные, безотрадные, мрачные пустыни расстилались вокруг меня. Огромные стволы серых голых деревьев тянулись бесконечными рядами всюду, куда хватал глаз. Их корни исчезали в черных неподвижных и мрачных водах безбрежного болота. Эти странные деревья казались одаренными человеческой жизнью и, размахивая своими голыми ветвями, молили о пощаде безмолвные воды жалобными голосами, полными муки и отчаяния. Сцена изменилась: я стоял нагой и одинокий на жгучем песке Сахары. У ног моих лежал скорчившись свирепый тропический лев. Вдруг его дикие глаза открылись и уставились на меня. Судорожным прыжком он вскочил на ноги и оскалил свои страшные зубы. В ту же минуту из его багровой глотки вырвался рев, подобный грому небесному, и я упал на землю. Задыхаясь в пароксизме ужаса, я наконец очнулся. Нет, это не был только сон. Теперь я владел своими чувствами. Лапы какого-то громадного зверя давили мою грудь, его жаркое дыхание касалось моего лица, страшные белые клыки блестели во мраке. Если бы даже тысяча жизней зависела от одного моего движения или слова, я не мог бы ни пошевелиться, ни крикнуть. Чудовище оставалось в одном и том же положении, не проявляя никаких враждебных намерений, а я лежал под ним беспомощный и, как мне казалось, на волоске от смерти. Я чувствовал, что душевные и телесные силы оставляют меня, что я гибну, и гибну просто от страха. Мой

разум мешался, смертная тоска овладела мною, в глазах темнело, даже огненные зрачки чудовища потускнели. Сделав страшное усилие, я обратился с молитвой к Богу и приготовился к смерти. Звук моего голоса, по-видимому, разбудил бешенство зверя. Он кинулся на мое тело и, к величайшему моему изумлению, принялся лизать мое лицо и руки с глухим и тихим визгом, со всеми признаками радости и нежности! Я был поражен, ошеломлен, но не мог не узнать особенный визг моего ньюфаундленда Тигра и его манеру ласкаться. Это был он. Кровь разом прихлынула к моим вискам, невыразимое одуряющее чувство избавления и возрождения овладело мной. Я быстро приподнялся на матраце, обвил руками шею моего верного спутника и друга, и тяжесть, так долго угнетавшая мое сердце, разрешилась потоком жарких слез.

Как и в прошлый раз, мои мысли шли вразброд. Долго я не мог ничего сообразить, но мало-помалу мыслительные способности вернулись ко мне, и я припомнил все, что со мной случилось. Присутствие Тигра оставалось для меня непонятным, и после тщетных попыток объяснить себе это обстоятельство я должен был отказаться от намерения и только радовался, что пес разделяет мое тоскливое уединение и утешает меня своими ласками. Большинство людей любят своих собак, но я питал к Тигру чувство более сильное, чем обыкновенная привязанность и, надо сказать правду, вполне заслуженное. В течение семи лет он был моим неразлучным спутником и много раз обнаруживал благородные качества, за которые мы ценим это животное. Я выручил его еще щенком из лап негодного уличного мальчишки в Нантукете, тащившего собаку в воду с петлей на шее: три года спустя Тигр заплатил мне свой долг, избавив меня от дубины уличного вора.

Приложив к уху часы, я убедился, что они вторично остановились; это ничуть не удивило меня, так как я был уверен, что проспал, как и в прошлый раз, очень долго; сколько именно времени – этого я, конечно, не мог решить. Меня била лихорадка, томила нестерпимая жажда. Я ощупью разыскал в ящике кружку с водой, так как свеча в фонаре сгорела дотла, а спички не попадались мне под руку. Отыскав кружку, я убедился, что она пуста; видно, Тигр соблазнился и вылакал воду; он же съел и остатки баранины, обглоданная кость валялась у входа в ящик. Тухлой баранины я не жалел, но сердце замирало при мысли о воде. Я чувствовал страшную слабость, так что дрожал как в лихорадке при малейшем движении или усилении. В довершение моих мучений бриг раскачивался и ходил ходуном, бочки из-под масла, лежавшие на моем ящике, каждую минуту грозили слететь и загородить мне дорогу. Морская болезнь тоже донимала меня жестоко. Ввиду всех этих обстоятельств я решил немедленно пробраться к люку, пока еще не утратил окончательно силы. Остановившись на этом решении, я снова принялся шарить спички и восковые свечи. Спички я скоро нашел, но свечи не попадались мне под руку (хотя я хорошо помнил, в каком месте положил их), – и потому, прекратив поиски, я велел Тигру лежать смирно, а сам отправился к люку.

Тут еще яснее обнаружилась моя слабость. Я с величайшими усилиями пробирался ползком, и часто мои члены внезапно ослабевали до того, что я падал ничком, близкий к обмороку. Тем не менее я упорно тащился вперед, содрогаясь при мысли лишиться чувств в каком-нибудь из этих узких проходов, что, разумеется, повлекло бы за собой неминуемую смерть. Наконец, ринувшись вперед отчаянным усилием, я стукнулся лбом об острый угол окованного железом ящика. Удар оглушил меня на несколько минут, а затем я с невыразимым отчаянием убедился, что ящик, свалившийся вследствие качки корабля, совершенно загородил мне путь. Никакими усилиями не мог я сдвинуть его хоть на один дюйм, так плотно засел он среди окружающих тюков. Мне оставалось только либо искать, несмотря на свою слабость, другой путь, либо перелезть через ящик. Первый способ представлял столько затруднений и опасностей, что я не мог подумать о нем без дрожи. При моем душевном и телесном изнеможении я бы непременно сбился с пути и погиб жалкой смертью в лабиринте ходов и закоулков трюма. Итак, собравшись с силами, я попытался, не теряя времени, перелезть через ящик.

Встав на ноги, я убедился, что эта задача еще труднее, чем казалось моему напуганному воображению. С каждой стороны у моего прохода возвышалась сплошная стена тяжелой кладки, которая при малейшем толчке могла обрушиться мне на голову или загородить обратный путь. Ящик, находившийся предо мной, был очень высок и массивен; я тщетно старался уцепиться за его верхний угол, да если бы это и удалось, у меня не хватило бы силы подняться на руках и перелезть через ящик. Наконец, напрягши все силы, чтобы сдвинуть его, я почувствовал, что одна из досок поддается. Оказалось, что она держится очень слабо. С помощью перочинного ножа я отодрал ее, хотя и не без труда, совсем и, пробравшись в отверстие, убедился, к своей великой радости, что с противоположной стороны ящик был открыт, – иными словами, крышки вовсе не было. После этого я без особенных затруднений добрался до гвоздя. С бьющимся сердцем я выпрямился и слегка надавил на люк. Вопреки моим ожиданиям он не поддавался, и я надавил сильнее, все еще опасаясь застать кого-нибудь постороннего в каюте Августа. К моему удивлению люк все-таки не поддавался, так что я не на шутку встревожился, вспомнив, как легко он открывался раньше. Я сильно толкнул его – не поддается! Налег изо всей силы – ничего не выходит! Уперся с бешенством, с яростью, с отчаянием – все мои усилия остались тщетными. Очевидно, отверстие было замечено и забито гвоздями, или над ним поместили тяжесть, которую я не в силах был сдвинуть.

Невыразимый ужас и отчаяние овладели мной. Тщетно я пытался уразуметь вероятную причину моего погребения заживо. Я не мог собраться с мыслями и, повалившись на пол, предался самому мрачному отчаянию; мне уже чудились муки голода, жажды, удушья, все ужасы, терзающие погребенного заживо. Наконец присутствие духа до некоторой степени вернулось ко мне. Я встал и принялся ощупывать пальцами щели или скважины люка. Отыскав их, я стал всматриваться, не проникает ли сквозь них свет из каюты; но его не было заметно. Тогда я просунул в щель острие перочинного ножа, – оно наткнулось на какое-то препятствие. Царапая его ножом, я убедился, что это железо и именно, судя по особенному волнистому движению лезвия, – железная якорная цепь. Теперь мне оставалось только вернуться к моему ящику и там либо покориться своей печальной судьбе, либо собраться с мыслями и придумать какой-нибудь способ избавления. Я тотчас пустился в обратный путь и после бесчисленных затруднений добрался до ящика. Когда я в изнеможении растянулся на матрасе, Тигр улегся рядом со мной, по-видимому, желая утешить или ободрить меня своими ласками.

Наконец внимание мое было привлечено его странным поведением. Полизав несколько минут мое лицо и руки, он внезапно останавливался и выпускал легкий визг. Протягивая руку, я всякий раз убеждался, что он лежит на спине, задрав лапы кверху. Я никак не мог объяснить себе это странное поведение. Видя его беспокойство, я подумал, нет ли у него какой-нибудь раны или ушиба, и тщательно ощупал его лапы, но они, по-видимому, были совершенно здоровы. Тогда, решив, что он голодает, я дал ему кусок ветчины, которую он проглотил с жадностью, но тем не менее продолжал свои загадочные действия. Наконец я решил, что он, подобно мне, томится жаждой, и совсем было успокоился на этом объяснении, когда мне пришло в голову, что я ощупал только его лапы, а между тем рана могла находиться на туловище или на голове. Я снова принялся ощупывать его; на голове ничего не нашел, но, проводя рукой по спине, заметил, что в одном месте шерсть как-то взъерошилась. Оказалось, что в этом месте был шнурок, опоясывавший его туловище. При более тщательном исследовании я нашел узелок, в котором, по-видимому, была завязана бумажка, приходившаяся как раз под левым плечом животного.

Глава III

У меня тотчас мелькнула мысль, что это записка от Августа, что какой-нибудь непредвиденный случай помешал ему освободить меня из заточения и он придумал этот способ уведомить меня о положении дел. Дрожа от нетерпения, я вновь принялся отыскивать спички и свечи. Я смутно припоминал, что упрятал их очень тщательно перед тем, как улегся спать, и до своего путешествия к люку хорошо помнил, в каком месте положил их. Но теперь я тщетно старался припомнить это место и целый час провел в бесплодных поисках. Вряд ли когда-нибудь я испытывал такое адское беспокойство и нетерпение. Наконец, ощупывая всюду (и случайно высунув голову из ящика), я заметил какой-то странный свет. Изумленный, я попытался добраться до него, так как он находился неподалеку от меня. Но, сдвинувшись с места, я потерял из вида свет и, только приняв прежнюю позу, поймал его снова. Тогда я стал осторожно водить головой из стороны в сторону и вскоре убедился, что, двигаясь потихоньку в направлении, противоположном тому, которое я принял в первый раз, могу приблизиться к свету, не потеряв его из вида. Добравшись до него по извилистым, узким проходам, я убедился, что свет исходит от спичек, валявшихся на пустом опрокинутом бочонке. Я недоумевал, каким образом они попали сюда, когда рука моя нащупала два или три комка воска, очевидно, изжеванного собакой. Я тотчас догадался, что она сожрала весь мой запас свечей, и потерял всякую надежду прочесть письмо Августа. Незначительные остатки воска так перемешались с сором, что я не мог извлечь из них никакой пользы и бросил их без внимания. От спичек осталось всего две-три головки фосфора; я подобрал их и вернулся к ящику, где Тигр оставался все время.

Я не знал, что предпринять дальше. В трюме было так темно, что я не мог рассмотреть свою руку, даже когда подносил ее к самому лицу. Белый клочок бумаги был едва различим, и только когда я смотрел на него не прямо, а искоса. Можно судить по этому, как темно было в трюме. По-видимому, записке моего друга, если только это была его записка, суждено было окончательно истерзать мою и без того измученную душу. Тщетно я придумывал всевозможные способы раздобыть свет, способы один другого нелепее, какие могут прийти в голову разве курильщику опиума и кажутся ему то удивительно разумными, то никуда не годными, смотря по тому, рассудок или воображение берут верх. Наконец у меня мелькнула мысль, показавшаяся мне вполне рациональной, так что я только подивился, как не пришла она раньше. Я положил бумажку на переплет книги и натер ее кусочками фосфора, которые нашел в бочонке. Бумага немедленно засветилась ярким светом, и если бы на ней было написано что-нибудь, я, без сомнения, прочел бы без труда. Но ни единой буквы!.. Белая, гладкая бумага и больше ничего. Через несколько мгновений свет мало-помалу замер, и сердце мое замерло вместе с ним.

Я уже говорил, что перед этим мой ум был близок к состоянию полного помешательства. Были, конечно, минуты совершенной ясности и пробуждения энергии, но очень редко. Надо помнить, что я в течение многих дней дышал зачумленной атмосферой замкнутого трюма на китобойном судне при очень скудном запасе воды. В течение последних четырнадцати-пятнадцати часов я вовсе не пил и не спал. Соленое мясо было моей единственной пищей после порции баранины; правда, у меня имелись еще сухари, но они были так сухи и жестки, что положительно не шли в мою пересохшую и распухшую глотку. Я был в жару и, вероятно, не на шутку болен. Только этим и объясняется, как мог я провести несколько часов в состоянии самого жалкого отчаяния и лишь тогда сообразить, что следовало посмотреть и другую сторону бумажки. Не пытаюсь изобразить бешенство (так как гнев господствовал над всеми остальными чувствами), овладевшее мною, когда мысль об этой оплошности внезапно озарила меня. Само по себе упущение было бы нетрудно исправить, если бы не моя безумная, ребяческая

выходка: увидев, что на бумаге ничего не написано, я разорвал ее на клочки и бросил их, так что теперь не мог найти.

Однако сообразительность Тигра помогла мне справиться с самой трудной частью задачи. Найдя после долгих поисков клочок бумаги, я поднес его к морде Тигра и старался дать ему понять, что он должен разыскать остальные. К моему изумлению (так как я никогда не обучал его разным штукам, которыми славятся его собратья), он, по-видимому, сразу понял, что мне нужно, и, пошарив кругом, вскоре принес мне другой довольно большой клочок. Сделав это, он приостановился, тыкаясь носом в мою руку, как будто ожидая моего одобрения. Я погладил его по голове, и он снова отправился на поиски. Прошло несколько минут, пока он вернулся, – зато на этот раз принес мне третий и последний клочок бумаги, которую я разорвал только на три части. К счастью, мне не трудно было отыскать оставшиеся кусочки фосфора – по свету, который они испускали. Затруднения, которые я испытал, выучили меня осторожности, и я хорошенько подумал, прежде чем приступить к делу. По всей вероятности, что-нибудь было написано на той стороне бумаги, которую я не рассматривал, но где же эта сторона? Сложив куски вместе, я мог быть уверенным, что слова (если только они есть) окажутся все на одной стороне в той же связи, как были написаны, – но на какой именно стороне? Необходимо было выяснить это обстоятельство, потому что остатков фосфора не хватило бы на третью попытку, если бы вторая не удалась. Я разложил бумагу на переплете книги, как раньше, и в течение нескольких минут обдумывал, как приняться за дело. Наконец мне пришло в голову, что на исписанной стороне могут оказаться какие-нибудь неровности, которые можно заметить при тщательном ощупывании. Я немедленно приступил к делу и осторожно провел пальцем по бумаге, – ничего особенного не было заметно, тогда я перевернул бумажку, снова провел по ней пальцем и заметил слабый, чуть видный свет. Он мог исходить только от частичек фосфора, которым я натирал бумагу в первый раз. Стало быть, записка, если только она была, находилась на противоположной стороне. Я снова перевернул бумагу и повторил свой прежний опыт. Когда я натер ее фосфором, она засветилась ярким светом, и мне сразу бросились в глаза несколько строчек, написанных, по-видимому, красными чернилами. Но свет, хотя яркий, длился всего мгновение. Не будь я так взволнован, я успел бы прочесть все три фразы, – я ясно видел, что их было три. Но, торопясь прочесть все разом, я схватил только шесть последних слов: «Кровью, – сиди смирно, или ты пропал».

Если бы я прочел всю записку, понял весь смысл предостережения, полученного от моего друга, если бы это предостережение было связано с самым трагическим, самым ужасным происшествием, я, наверно, не испытал бы такого мучительного, неизъяснимого ужаса, который возбудила во мне эта отрывочная фраза. «Кровь», – зловещее слово, всегда, во все времена связанное с тайной, страданием, ужасом, с каким утроенным значением оно явилось предомной, как мрачно и глухо отдались его смутные слоги (не связанные с предыдущим и последующим содержанием письма и тем более загадочные) среди мрака моей темницы в глубочайших изгибах моей души!

Без сомнения, у Августа были основательные причины желать, чтобы я остался в своем убежище, я тщательно придумывал тысячи объяснений этому, – ни одно из них не давало удовлетворительного решения тайны. Вернувшись из своего путешествия к люку и еще не заметив странного поведения Тигра, я решился во что бы то ни стало дать знать о своем существовании экипажу или, если это не удастся, попробовать самому выбраться на палубу. Надежда на исполнение которого-нибудь из этих проектов давала мне силы переносить мое бедственное положение. Но вот несколько слов, прочтенных мною, разом убили эту надежду, и тут-то я в первый раз вполне почувствовал весь ужас моей горькой участи. В припадке отчаяния я снова кинулся на матрац и долго, не менее суток, валялся в забытии, лишь изредка на минуту приходя в себя.

Наконец я стал размышлять о своем ужасном положении. Возможно, я мог бы прожить еще сутки без воды, но протянуть дольше было решительно невозможно. В первое время моего заключения я пользовался напитками, которые оставил мне Август, но они только возбуждали лихорадочное состояние, ничуть не утоляя жажды. Теперь у меня оставалось четверть пинты крепкой персиковой настойки, которой решительно не выносил мой желудок. Колбасы были съедены дочи́ста, от окорока остался только кусок кожи, а от сухарей только крошки – все остальное было съедено Тигром. В довершение всего голова моя болела все сильнее и сильнее, и бред почти не прекращался с той самой минуты, когда я заснул в первый раз. Я едва мог переводить дыхание, и всякий вздох сопровождался жестоким колотьем в груди. Но был у меня и еще источник беспокойства, и такого ужасного, что оно заставило меня очнуться от забытья. Причиной этого беспокойства было странное поведение собаки.

Я заметил перемену в ее поведении, когда в последний раз натирал фосфором записку. В это время Тигр с глухим ворчаньем ткнулся мордой в мою руку, но я был так возбужден, что не обратил внимания на это обстоятельство. Вскоре потом я бросился на матрац и впал в состояние, близкое к летаргии. Внезапно я услышал какое-то хрипение над самым моим ухом и, очнувшись, убедился, что это Тигр; он задыхался и хрипел, по-видимому, в страшном возбуждении, а глаза его светились диким огнем во мраке трюма. Я окликнул его, он отвечал глухим ворчаньем, затем успокоился. Я снова впал в забытье и снова очнулся при таких же обстоятельствах. Это повторялось три или четыре раза, пока наконец поведение Тигра не внушило мне такой страх, что я окончательно пришел в себя. Теперь он лежал у входа в ящик, и, глухо рыча, скрежетал зубами. Я не сомневался, что вследствие спертой атмосферы или недостатка воды он взбесился, и решительно не знал, что мне предпринять. У меня не хватало духа убить его, а между тем это было необходимо для моего спасения. Я ясно видел его глаза, устремленные на меня с выражением лютой злобы, и с минуты на минуту ожидал нападения. Наконец я не мог более выносить этого положения и решил во что бы то ни стало выйти из ящика и, если это окажется необходимым, убить собаку. Но, чтобы выбраться из ящика, надо было перелезть через Тигра, а он, по-видимому, решил предупредить меня, поднялся на передние лапы (я угадал это по изменившемуся положению его глаз) и оскалил свои белые зубы, блестящие в темноте. Я взял остатки кожи от окорока, бутылку с водкой и большой кухонный нож, оставленный мне Августом, затем, закутавшись как можно плотнее в плащ, двинулся к выходу из ящика. Лишь только я пошевелился, собака с громким рычанием кинулась на меня. Она ударила всей тяжестью своего тела о мое правое плечо, и я упал влево, в то время как бешеное животное перескочило через меня. Я упал на колени, запутавшись головой в одеялах, это спасло меня от вторичного нападения: я чувствовал, как острые зубы вонзились в шерстяное одеяло, окутывавшее мою шею, но, к счастью, не прокусили его насквозь. Я, однако, находился под животным и через несколько мгновений должен был очутиться в его власти. Отчаяние придало мне силы: я приподнялся, отбросил от себя собаку, накинуд на нее одеяло и матрац, и прежде чем она выпуталась из них, выскочил из ящика и задвинул отверстие. Во время этой борьбы я выпустил из рук остатки ветчины, так что теперь все мои съестные припасы ограничивались несколькими глотками водки. Когда я заметил это, мной овладел один из тех припадков своенравия, которые свойственны избалованным детям: приставив бутылку к губам, я залпом осушил ее и затем с бешенством швырнул об пол.

Не успело замереть эхо этого удара, как я услышал свое имя, произнесенное торопливым шепотом. Это было так неожиданно, а мое волнение было так велико, что я не мог вымолвить слова. Язык совершенно отнялся у меня, и я стоял между тюками в смертном страхе, что друг мой, не слыша ответа, сочтет меня умершим и вернется на палубу. Стоял, судорожно дрожа всеми членами, задыхаясь в бесплодных усилиях произнести хоть слово. Если бы тысячи миров зависели от одного слога, я не мог бы произнести его. Послышался слабый шорох среди клади в направлении каюты. Шорох становился слабее, слабее, слабее. Забуду ли когда-нибудь мои

чувства в эту минуту? Он уходил – мой друг, мой товарищ, от которого я ожидал так много, он уходил, покидал меня, уходил! Он оставлял меня на жалкую смерть в отвратительной и ужасной темнице, а между тем одно слово, один звук могли бы спасти меня, но я не мог выговорить этого слова! Конечно, я испытывал агонию, которая в тысячу раз сильнее самой смерти. Голова моя закружилась, и я упал на ящик.

При этом кухонный нож выскользнул из-за моего пояса и со звоном упал на пол. Никогда никакая музыка не раздавалась так сладко в моих ушах! Я вслушивался с замирающим сердцем, какое действие произведет этот шум на Августа, так как никто кроме Августа не мог окликнуть меня по имени. В течение нескольких мгновений все было тихо. Наконец я снова услышал имя Артур, произнесенное тихим и нерешительным голосом. Возродившаяся надежда развязала мой язык, и я заорал во всю глотку:

– Август! Август!

– Тише, ради бога молчи! – отвечал он дрожащим от волнения голосом. – Я сейчас проберусь к тебе.

Долго я прислушивался, как он пробирался среди груза, и каждая минута казалась мне веком. Наконец я почувствовал его руку на плече, и в ту же минуту он поднес бутылку с водой к моим губам. Только тот, кому случалось быть вырванным из когтей смерти или испытать нестерпимые муки жажды при таких же ужасных обстоятельствах, только тот способен понять невыразимое блаженство высочайшего из физических наслаждений.

Когда я несколько утолил жажду, Август вынул из кармана три или четыре вареных картофелины, которые я с жадностью проглотил. С ним был потайной фонарик, и отрадный свет доставил мне почти столько же наслаждения, как пища и питье. Но я сгорал от нетерпения узнать причину его продолжительного отсутствия, и он приступил к рассказу о том, что случилось на корабле со времени отплытия.

Глава IV

Как я и предполагал, бриг снялся с якоря час спустя после того, как Август оставил мне свои часы. Это было 20 июня. Если помните, я в то время уже третьи сутки сидел в трюме и в течение всего этого времени на бриге стояла такая толчея и беготня, особенно в каютах, что друг мой ни разу не мог заглянуть ко мне, не рискуя выдать тайну. Когда наконец он явился ко мне, я уверил его, что чувствую себя как нельзя лучше, и течение двух следующих дней он не особенно беспокоился обо мне, хотя все-таки поджидал случая спуститься в трюм. Случай представился только на четвертый день после отплытия. Не раз в течение этого периода его подмывало открыть тайну отцу и выпустить меня, но мы все еще находились в виду Нантукета, и по некоторым замечаниям капитана Барнарда можно было предположить, что он вернется, если узнает о моем присутствии. Кроме того, Август не мог себе представить, чтобы я в чем-нибудь нуждался или в случае надобности не вылез бы сам. Итак, он решил оставить меня в покое, пока не представится случай навестить меня незамеченным. Как я уже сказал, случай представился на четвертый день после отплытия или на седьмой, считая с того момента, когда я спрятался в трюме. Он спустился ко мне, не захватив с собой ни воды, ни провизии, намереваясь вызвать меня к люку и затем уже подать мне из каюты все, что понадобится. Спустившись, он убедился, что я сплю; по-видимому, я храпел очень громко. Это был тот самый сон, что овладел мною тотчас по возвращении моем от люка с часами и который, следовательно, длился три дня и три ночи. Недавно я имел случай убедиться по собственному опыту и свидетельству других в усыпляющем действии запаха старого рыбьего жира в замкнутом помещении; и когда я подумаю о тесном трюме и о долгом времени, в течение которого наш корабль служил китобойным судном, то удивляюсь скорее тому, что проснулся наконец, чем продолжительности своего сна.

Сначала Август окликнул меня вполголоса, не опуская люка, но я не отвечал. Тогда он опустил люк и крикнул громче, потом очень громко, я продолжал храпеть. Он не знал, что делать. Чтобы пробраться между кладью к моему ящику, требовалось немало времени, и капитан Барнард мог заметить его отсутствие, так как Август помогал ему вести и приводить в порядок бумаги, касающиеся цели плавания, и мог понадобиться каждую минуту. Итак, подумав немного, он решил вернуться в каюту и дожидаться другого случая. В этом решении поддерживало его то обстоятельство, что я, по-видимому, спал самым спокойным сном, значит, не испытывал никаких особенных неудобств. Пока он раздумывал обо всем этом, внимание его привлечено было каким-то странным шумом, раздавшимся, по-видимому, в капитанской каюте. Он поспешно выскочил из трюма, захлопнул люк и отворил дверь своей каюты. Не успел он перешагнуть через порог, как выстрел из пистолета опалил ему лицо и удар гандшпугом сбил с ног.

Чья-то сильная рука схватила Августа за горло; и все-таки он мог видеть, что делается вокруг. Отец его, связанный по рукам и по ногам, лежал на ступеньках лестницы ничком, с глубокой раной на лбу, из которой кровь струилась ручьем. Он ничего не говорил и, по-видимому, находился при последнем издыхании. Помощник, наклонившись над ним с дьявольской улыбкой, обыскивал его карманы, из которых вытащил в эту минуту толстый бумажник и хронометр. Семь человек из экипажа (в том числе повар-негр) обыскивали каюты на правой стороне, где было сложено оружие, и вскоре появились оттуда с ружьями и порохом. Всего, кроме Августа и капитана Барнарда, в каюте находилось девять человек самых отъявленных бездельников на судне. Негодяи поднялись на палубу, куда потащили и моего друга, связав ему руки за спиной. Тут они подошли к баку, в то время запертому; двое стали у дверей с топорами, двое у главного люка. Помощник громко крикнул:

– Эй вы, внизу! Вылезайте вверх поодиночке и без разговоров!

Прошло несколько минут; наконец один англичанин, юнга, выполз с горькими слезами, униженно умоляя о пощаде. Ответом ему был удар по лбу. Бедняга грохнулся на палубу не пикнув, а черный повар поднял его на руки, как ребенка, и выбросил в море. Услышав падение тела и всплеск воды, находившиеся внизу наотрез отказались выйти на палубу, и ни угрозы, ни обещания не могли выманить их, пока кто-то не предложил выкурить несогласных. Тогда они разом кинулись наверх, и была минута, когда могло показаться, что победа останется за ними. Однако бунтовщики успели затворить бак, когда выскочили всего шесть человек. Эти шестеро, видя, что численный перевес на стороне бунтовщиков, и будучи к тому же безоружными, сдались после непродолжительной борьбы. Помощник успокаивал их ласковыми словами – без сомнения, для того, чтобы обмануть оставшихся внизу, так как они могли слышать каждое его слово. Результат доказал его сообразительность так же, как его дьявольскую гнусность. Оставшиеся внизу согласились сдаться и вылезли поодиночке на палубу, где их связали и бросили рядом с первыми шестью – всего не участвовавших в бунте оказалось двадцать семь человек.

Затем последовала ужасная бойня. Связанных матросов перетащили к трапу. Здесь повар убивал их ударами топора по голове, а остальные мятежники тотчас выбрасывали жертву за борт. Таким образом были убиты двадцать два человека, и Август считал себя погибшим, с минуты на минуту ожидая своей гибели. Наконец, однако, злодеи устали от своей кровавой работы, бросили четырех оставшихся, рядом с которыми оказался и Август, достали водку, и началась попойка, длившаяся до самой ночи. Во время пирушки они обсуждали, что делать с оставшимися в живых пленниками, которые лежали в четырех шагах и могли слышать каждое слово. По-видимому, водка оказала смягчающее действие на некоторых бунтовщиков, потому что раздался голоса, советовавшие пощадить пленников с условием присоединиться к бунту и разделить добычу. Но черный повар (во всех отношениях сущий черт, пользовавшийся таким же, если не большим влиянием, как сам помощник капитана) не хотел ничего слушать и несколько раз вставал, намереваясь продолжить бойню. К счастью, он был так пьян, что менее кроважидные без труда могли удержать его. В числе последних оказался некто Дэрк Петерс, лотовой. Этот человек был сын индеанки из племени упсарокас близ Скалистых гор у верховьев Миссури. Отец его, кажется, торговал звериными шкурами, во всяком случае имел сношения с торговыми стоянками индейцев на реке Льюис. Сам Петерс был человек необычайно свирепого вида. Небольшого роста, не более четырех футов восьми дюймов, он, однако, обладал геркулесовским сложением. В особенности кисти рук его поражали своей чудовищной величиной, напоминая скорее звериные лапы. При этом руки и ноги были искривлены самым странным образом и, казалось, вовсе лишены способности сгибаться. Голова у него тоже была пребезобразная – огромная, заостренная кверху и совершенно лысая. Чтобы скрыть этот последний недостаток, вовсе не зависевший от возраста, он носил парик из первой попавшейся шкуры, например из шкуры испанского дога или американского серого медведя. В то время, о котором я говорю, у него был парик из медвежьей шкуры, придававший еще больше свирепости его лицу, сохранившему племенные черты упсарокас. Рот у него доходил почти до ушей; тонкие губы, как и остальные черты, отличались неподвижностью, так что выражение его лица оставалось неизменным при самом сильном возбуждении. Чтобы иметь понятие об этом выражении, представьте себе необычайно длинные выдающиеся зубы, никогда не прикрывавшиеся губами. С первого взгляда можно было подумать, что он смеется, но, вглядываясь пристальнее, вы с ужасом убеждались, что если это выражение веселья, то веселья дьявольского. Много рассказней ходило об этом человеке среди нантукетских моряков. Рассказы эти посвящены были главным образом его чудовищной силе, особенно в минуты возбуждения, а некоторые из них заставляли сомневаться в его рассудке. На «Грампусе», однако, к нему относились, по-видимому, с пренебрежением. Я распространяюсь о Дэрке Петерсе, потому что, несмотря на свою свирепую наружность, он сделался главным спасителем Августа, а также потому, что мне не раз придется упоминать о нем в дальнейшем рассказе. Рассказе, последняя часть которого,

замечу мимоходом, говорит о происшествиях, настолько выходящих за пределы человеческого опыта и, следовательно, человеческой доверчивости, что у меня нет ни малейшей надежды снискать доверие публики. Я надеюсь, однако, что время и успехи науки подтвердят мои как важнейшие, так и невероятнейшие открытия.

После долгих колебаний и бурных споров решено было посадить пленников (за исключением Августа, которого Петерс желал во что бы то ни стало сохранить в качестве конторщика, как он выражался) в маленький вельбот и пустить на произвол судьбы. Помощник капитана отправился в каюту посмотреть, жив ли еще капитан Барнард, который, если припомнит читатель, был брошен вниз, когда бунтовщики отправились наверх. Минуту спустя оба вернулись на палубу, капитан, бледный, как смерть, но несколько оправившийся от раны. Он обратился к матросам, уговаривая их едва внятным голосом не бросать его на произвол судьбы, а вернуться к исполнению своих обязанностей и обещая высадить их, где они захотят, и не преследовать судом. Но с таким же успехом он мог бы говорить ветрам. Два негодяя схватили его за руки и бросили за борт в лодку, которая уже была спущена на воду. Четверым пленникам развязали руки и велели следовать за капитаном, что они и исполнили без разговоров, только Август остался на палубе связанным, хотя бился и молил позволить ему проститься с отцом. Затем спустили в лодку мешок сухарей и кувшин с водой, но ни мачты, ни паруса, ни весла, ни компаса. В течение нескольких минут лодку тащили на буксире, потом, посоветовавшись еще раз, бунтовщики обрезают веревку. Наступила ночь – темная, безлунная и беззвездная ночь, море глухо шумело и волновалось, хотя сильного ветра не было. Лодка моментально скрылась из виду с несчастными пловцами, которым, конечно, нечего было рассчитывать на спасение. Впрочем, это происходило под $35^{\circ}30'$ северной широты и $61^{\circ}20'$ западной долготы, следовательно, поблизости от Бермудских островов. Ввиду этого Август старался утешить себя мыслью, что лодке, быть может, удастся достигнуть берега или наткнуться на какой-нибудь корабль.

На бриге подняли все паруса и продолжали путь к юго-западу; кажется, бунтовщики задумали какую-то разбойничью экспедицию. Насколько можно было понять, дело шло о захвате корабля, шедшего с островов Зеленого Мыса в Пуэрто-Рико. На Августа не обращали никакого внимания; он был развязан и мог свободно ходить всюду, кроме кают. Тем не менее положение его оставалось очень шатким; матросы постоянно были пьяны, и он не мог рассчитывать на их добродушие или беззаботность. Но пуще всего терзало его беспокойство обо мне, – так он говорил мне, и я верю этому, потому что никогда не имел повода сомневаться в искренности его дружбы. Не раз он решался сообщить бунтовщикам о моем пребывании на корабле, но его удерживало воспоминание об их жестокости и надежда подать мне помощь при первом удобном случае. Однако несмотря на то, что он все время был настороже, случая не представлялось в течение трех дней. Наконец однажды ночью поднялся сильный ветер с востока, так что все матросы принялись убирать паруса. Воспользовавшись этой суматохой, он незаметно проскользнул в свою каюту. Каково же было его огорчение и ужас, когда он убедился, что каюта превращена в складочное место для разных запасов, а на люке лежит громадная якорная цепь, которую перетаскивали сюда из рубки! Отодвинуть ее значило бы выдать тайну, и потому он поспешил вернуться наверх. Лишь только он показался на палубе, помощник капитана схватил его за горло, спрашивая, зачем он таскался в каюту, и хотел уже бросить его за борт, но тут вступился Дэрк Петерс и еще раз спас ему жизнь. На этот раз Августу надели на руки колодки (на корабле было несколько пар), связали ноги, стащили его в переднюю каюту и бросили на койку, сказав, что он не выйдет на палубу, «пока бриг не перестанет быть бригам». Так выразился повар, бросивший его на койку. Трудно понять, что он хотел сказать этой фразой. Но происшествие в конце концов привело к моему избавлению, как сейчас увидит читатель.

Глава V

По уходе повара Август предался отчаянию, думая, что ему уже не выбраться живым из койки. Он решил сообщить обо мне первому, кто к нему подойдет, рассудив, что лучше мне положиться на милость бунтовщиков, чем погибнуть от жажды в трюме. В самом деле, я уже десять дней находился в своем убежище, а моего запаса воды могло хватить дня на четыре, не больше. Пока он думал об этом, ему пришло в голову, нельзя ли пробраться ко мне через главный люк. При других обстоятельствах он не решился бы на такое трудное и рискованное предприятие, но теперь у него оставалось так мало надежды на спасение жизни, что он махнул рукой на опасность и решил попытаться во что бы то ни стало.

Прежде всего надо было избавиться от колодок. Сначала он не знал, как с ними быть, и боялся, что не справится; но вскоре убедился, что они снимаются очень легко, без особенных усилий: колодки были слишком велики для гибких и тонких костей юноши, и руки его свободно проходили в них. Затем он развязал ноги, оставив веревку в таком положении, чтобы можно было быстро завязать ее, если бы кто-нибудь из матросов вздумал спуститься в каюту. Осмотрев перегородку, к которой примыкала его койка, он убедился, что она сделана из мягких сосновых досок, не более дюйма толщиной, так что прорезать ее будет не особенно трудно. Тут послышался голос наверху, и едва он успел связать ноги и просунуть правую руку в колодку (с левой он не снимал ее), как явился Дэрк Петерс в сопровождении Тигра, который тотчас же вскочил в койку и растянулся рядом с моим другом. Собака была взята на бриг Августом, который знал мою привязанность к этому животному и думал, что мне приятно будет взять ее с собой. Он сходил за ней тотчас после того, как спрятал меня в трюме, но забыл сообщить мне об этом, когда принес часы. Со времени мятежа он не видел ее и считал погибшей, думая, что какой-нибудь негодяй из шайки выбросил ее за борт. Впоследствии оказалось, что собака залезла под вельбот, откуда не могла выбраться без посторонней помощи. Наконец Петерс выпустил ее оттуда и под влиянием доброго чувства, которое вполне оценил мой друг, привел в каюту, захватив также немного солонины, картофеля и кружку воды; затем он ушел на палубу, обещав принести побольше еды завтра.

Когда он ушел, Август высвободил обе руки из колодок и развязал ноги. Затем отвернул конец матраца, на котором лежал, и принялся резать перегородку перочинным ножом (негодяи не подумали обыскать его) как можно ближе к койке. Он выбрал это место, потому что в случае тревоги легко было закрыть его, уложив матрац по-прежнему. В этот день, впрочем, никто его не потревожил, а к ночи ему удалось перерезать доску. Надо заметить, что со времени бунта никто из матросов не ночевал на баке, все переселились в капитанскую каюту и истребляли запасы вина, а за бригам почти не смотрели. Это обстоятельство оказалось весьма кстати для нас с Августом, потому что в противном случае ему не удалось бы добраться до меня. Теперь же он продолжал работу с надеждой на успех. Однако уже рассветало, когда он окончил второй разрез (приблизительно на фут выше первого), устроив таким образом отверстие, через которое пролез в верхний трюм. Затем он пробрался без особенных затруднений, несмотря на груды бочек, наваленных до самой палубы, к главному нижнему люку. Тут он заметил, что Тигр все время следовал за ним. Но спуститься теперь же ко мне было слишком рискованно, так как главная трудность – пробраться среди клады нижнего трюма – оставалась еще впереди. Ввиду этого он решил вернуться и подождать до ночи. Во всяком случае он хотел теперь же открыть люк, чтобы в следующий раз пройти как можно скорее. Едва он приотворил его, как Тигр бросился к щели, обнюхал ее и с глухим воем принялся царапать лапами доску, точно желая поднять ее. Очевидно, он чуял мое присутствие в трюме. Августу пришло в голову написать и послать мне записку, так как было бы весьма важно уведомить меня о положении дел, чтобы я сидел смирно, если даже ему не удастся проникнуть ко мне на следующий день. Дальнейшие

события показали, как удачна была эта мысль: не получив записки, я наверно придумал бы какой-нибудь способ, хотя бы самый отчаянный, дать знать экипажу о своем присутствии, и в результате, по всей вероятности, нас уколошили бы обоих.

Главное затруднение было добыть материалы для письма. Из старой зубочистки Август соорудил перо – ошупью, потому что тьма была кромешная. Для записки послужил чистый листок подложного письма от имени мистера Росса. Это был первый экземпляр письма, но Август нашел почерк недостаточно похожим и написал второе, а первое сунул в карман, где оно и оказалось, весьма кстати, в настоящую минуту. Не было только чернил, но он и тут нашелся, надрезав перочинным ножом палец выше ногтя. Крови вытекло довольно, как всегда из порезов, сделанных в этом месте. Затем он написал письмо насколько мог ясно в такой темноте и при таких обстоятельствах. Он вкратце сообщал мне, что на бриге произошел бунт, что капитана Барнарда высадили и пустили на произвол судьбы в лодке и что я могу рассчитывать на скорую помощь, но не должен поднимать шума. Письмо заканчивалось словами: «Пишу кровью, сиди смирно, или ты пропал».

Записка была привязана к собаке, которая бросилась в трюм, тогда как Август вернулся в каюту. Чтобы скрыть отверстие в перегородке, он воткнул над ним перочинный нож и повесил на него матросскую куртку, оказавшуюся на койке. Затем продел руки в колодки и завязал ноги.

Едва он покончил с этим, как вошел Дэрк Петерс, сильно навеселе, но в отличном расположении духа. Он принес моему другу его порцию на сегодняшний день: дюжину печеных картофелин и кружку воды. Он посидел немного на сундуке подле койки, рассказывая вполне откровенно обо всем, что происходило на корабле. Поведение его показалось Августу крайне странным и нелепым, даже напугало его. Наконец Петерс встал и убрался на палубу, обещая принести хороший обед завтра. В течение дня явились к моему другу двое матросов (гарпунщиков) и повар, пьяные до положения риз. Как и Петерс, они не стеснясь болтали о своих планах. По-видимому, на корабле царило полное разногласие; только один пункт не возбуждал споров: грабеж корабля, шедшего с островов Зеленого Мыса, встреча с которым ожидалась с минуты на минуту. Насколько можно было судить, причиной бунта явились не только корыстные цели, главную роль в нем играла личная ненависть помощника капитана к капитану Барнард. Теперь бунтовщики разделились на две партии: партию помощника капитана и партию повара. Помощник предлагал овладеть первым подходящим кораблем и снарядить его на каком-нибудь из Антильских островов для морского разбоя. Вторая партия, более многочисленная, к которой принадлежал и Петерс, хотела продолжать путь в южную часть Тихого океана и там заняться ловлей китов или чем-нибудь другим, глядя по обстоятельствам. Доводы Петерса, не раз бывавшего в тех местах, имели, по-видимому, большое значение в глазах бунтовщиков, колебавшихся между смутными представлениями о наживе и развлечениях. Он расписывал яркими красками утех и развлечения на островах Тихого океана, полнейшую безопасность и свободу, но больше всего превозносил чудный климат, обилие житейских благ и восхитительную красоту женщин. До сих пор моряки не пришли к окончательному решению, но рассказы метиса-канатчика производили сильное впечатление на пылкую фантазию нынешней команды и, по всей вероятности, победа должна была остаться за ним.

Просидев около часа, все трое ушли, и в этот день никто более не заглядывал в переднюю каюту. Август лежал смирно до наступления ночи. Затем он снял колодки, развязал ноги и приготовился к предприятию. На одной из коек нашлась бутылка, которую он наполнил водой, набив карманы картофелем. К своей великой радости, он отыскал также фонарь с небольшим огарком сальной свечи. Он мог зажечь ее когда угодно, так как имел в своем распоряжении коробочку фосфорных спичек. Когда совершенно стемнело, Август пролез в отверстие перегородки, уложив постель так, чтобы казалось, будто под одеялом лежит человек. Очутившись за перегородкой, он завесил отверстие курткой. Затем пробрался среди бочек к нижнему люку.

Тут зажег свечку и спустился вниз, пробираясь с величайшим трудом среди клады. Невыносимая духота и вонь смутили его на первых же шагах. Он не мог себе представить, чтобы я выжил так долго в удушливой атмосфере. Он окликнул меня несколько раз, но я не отвечал; по-видимому, его подозрения подтверждались. Качка была сильная и шум такой, что было бы бесполезно прислушиваться к слабому звуку моего дыхания или хрипения. Он открыл фонарь и поднял его как можно выше в надежде, что, заметив свет, я откликнусь или позову на помощь. Но я не отзывался, и его предположение насчет моей смерти начинало превращаться в уверенность. Но все-таки он хотел пробраться к ящику, чтобы не оставалось никаких сомнений. Август двигался в жестоком беспокойстве, пока не наткнулся на препятствие, преграждавшее ему путь. Силы оставили его и, кинувшись на кучу хлама, он заплакал, как дитя. В эту минуту раздался звон разбитой бутылки, которую я швырнул об пол. Счастье, что я поддался этому ребяческому капризу, потому что от него, как оказалось, зависело мое спасение. Но я узнал об этом только спустя много лет. Весьма естественный стыд и смущение помешали моему приятелю признаться откровенно в своем малодушии и слабости, и только впоследствии он покаялся мне чистосердечно. Дело в том, что, встретив на своем пути препятствие, он решил вернуться в каюту, отказавшись от попытки пробраться ко мне. Но прежде чем обвинять его, нужно подумать. Ночь проходила, и его отсутствие могло быть и было бы замечено, если бы он не вернулся до рассвета. Свеча догорала, а вернуться к верхнему трюму в темноте было очень трудно. Далее, надо согласиться, что он имел полное основание считать меня погибшим; а в таком случае не было смысла пробираться к моему ящику; мне это не могло помочь, а ему грозило страшной опасностью. Он несколько раз окликал меня и ни разу не получил ответа. Я пробыл одиннадцать дней и одиннадцать ночей с ничтожным запасом воды, которую наверно не берег в первые дни моего заключения, так как рассчитывал на скорую помощь. Атмосфера трюма тоже должна была показаться ему, дышавшему относительно свежим воздухом каюты, убийственной, гораздо более убийственной, чем мне, когда я впервые спустился в трюм, потому что перед тем все люки были открыты в течение нескольких месяцев. Прибавьте к этому недавнюю сцену кровопролития и ужаса, заключение моего друга, испытанные им лишения, случайное избавление от смерти, теперешнее шаткое и двусмысленное положение – все эти обстоятельства, способные убить энергию в человеке, – и вы, подобно мне, отнесетесь к этой кажущейся измене скорее с сожалением, чем с гневом.

Август ясно слышал звон разбитой бутылки, но не был уверен, что звук исходит из трюма. Как бы то ни было, в нем зародилось сомнение, заставившее его продолжать поиски. Он взобрался на груды поклажи почти к самому потолку и, выждав минуту затишья, окликнул меня во всю глотку, забыв на минуту об опасности быть услышанным наверху. Если помнит читатель, на этот раз я услышал его, но страшное волнение помешало мне ответить. Решив, что его опасения подтвердились, Август спустился на пол, чтобы вернуться не теряя времени. Второпях он свалил несколько бочонков, этот шум, если помните, я тоже услышал. Он уже отошел довольно далеко, когда звук упавшего ножа снова привлек его внимание. Он тотчас вернулся и крикнул так же громко, как ранее, выждав минуту затишья. На этот раз я ответил. Радуюсь, что я еще жив, он решил пренебречь всякой опасностью и во что бы то ни стало добраться до меня. Выбравшись кое-как из груды разного хлама, он нашел наконец более широкий проход и после долгих усилий добрался до ящика в состоянии полного изнеможения.

Глава VI

Пока мы оставались у ящика, Август сообщил мне главнейшие обстоятельства этой истории. Подробности я узнал позднее. Он боялся, что его отсутствие будет замечено, да и я горел нетерпением выбраться из этой проклятой тюрьмы. Мы решили вернуться к дыре в перегородке, за которой я должен был остаться, между тем как он проникнет в каюту. Мы ни за что не хотели оставить Тигра в ящике; но что было с ним делать? По-видимому, он совершенно успокоился, мы не могли даже расслышать его дыхание, приложив ухо вплотную к ящику. Я был убежден, что он околел, и потому решился открыть ящик. Оказалось, что он лежал, вытянувшись, в полном оцепенении, но еще живой. Время было дорого, но я не мог бросить на произвол судьбы животное, дважды послужившее орудием моего спасения. Итак, мы потащили его с собой, как ни трудно нам приходилось, особенно Августу, который должен был перелезть через препятствия с тяжелой собакой на руках. У меня при моей крайней слабости и истощении не хватило бы сил на это. Наконец мы добрались до отверстия; Август пролез в него первый, затем перетащил Тигра. Все обошлось благополучно, и мы не преминули воздать хвалу Богу за наше избавление от смертельной опасности. Пока решено было, что я останусь подле отверстия, через которое мой товарищ может снабжать меня пищей и питьем и подле которого я мог дышать сравнительно чистым воздухом. В объяснение некоторых мест моего рассказа, касающихся загрузки брига, которые могут показаться сомнительными читателям, знакомым с этим предметом, я должен заметить, что эта в высшей степени важная задача была исполнена на «Грампусе» с самой постыдной небрежностью со стороны капитана Барнарда, который не обнаружил в данном случае ни заботливости, ни опытности, безусловно необходимых в таком рискованном предприятии. Погрузку ни в коем случае не следует производить кое-как, и не одна катастрофа, даже из известных мне лично, была вызвана небрежностью в этом отношении. Прибрежные суда, которым то и дело приходится нагружаться или разгружаться, чаще всего страдают от неумелой или неряшливой укладки груза. Главное – уложить груз или балласт так, чтобы они не могли передвигаться при самой сильной качке. Для этого нужно обращать внимание не только на внешний вид, но и на свойства и на количество груза. В большинстве случаев погрузка производится посредством винта. Таким образом груз табака или муки укладывается в трюм корабля так плотно, что тюки или мешки сплюсчиваются и только спустя некоторое время после разгрузки принимают прежнюю форму. Такая плотная погрузка производится, впрочем, главным образом для того, чтобы выиграть место в трюме, так как при полном грузе таких товаров, как мука или табак, нечего опасаться передвижения тюков. Однако такая плотная укладка груза может повлечь за собой опасность совершенно иного рода. Груз хлопчатой бумаги, например плотно спрессованной, может при известных обстоятельствах расширяться, причем корабль даст трещины. Без сомнения, к таким же последствиям может повести начавшееся брожение табака, если промежутки между тюками не ослабят расширения.

При неполной нагрузке угрожает опасность от передвижения тюков, и против этого необходимо принять меры предосторожности. Только тот, кому случалось испытать сильный шторм или, вернее сказать, качку при мертвой зыби после шторма, имеет представление о страшной силе сотрясений корабля и, следовательно, толчков, получаемых грузом. В таких случаях становится очевидной необходимость самой тщательной укладки неполного груза. Когда корабль лежит в дрейфе (особенно с маленьким передним парусом), то при неправильном устройстве носа часто ложится набок; это случается каждые четверть часа или двадцать минут, но без всяких опасных последствий, если только погрузка произведена правильно. В противном случае весь груз скатывается на ту сторону, которая лежит на воде, и корабль, утратив равновесие и не имея возможности выпрямиться, неминуемо наполнится водой и пойдет ко дну. Без всякого

преувеличения можно сказать, что добрая половина кораблей, погибших во время шторма, обязана своей гибелью плохой укладке груза или балласта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.